

ВИКТОРИЯ
ПЛАТОВА

Купель
дьявола



Виктория Евгеньевна Платова

Купель дьявола

Текст предоставлен правообладателем

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=124213

Купель дьявола / Виктория Платова: Э; Москва; 2017

ISBN 978-5-04-089625-7

Аннотация

Что может связывать фартового вора, известного коллекционера и преуспевающего молодого бизнесмена? Только смерть! Всех троих убивает картина старого голландского мастера, обладателями которой они были. Их смерть кажется необъяснимой. Такой же необъяснимой, как и сходство новой хозяйки картины, владелицы крохотной арт-галереи Кати Соловьевой, с изображенной на полотне рыжеволосой красавицей. Шлейф мистических смертей тянется из далекого прошлого, но у картины-убийцы есть соучастники и в настоящем.

Содержание

Пролог	5
Часть I	19
Конец ознакомительного фрагмента.	147

Виктория Платова

Купель дьявола

© Виктория Платова, текст, 2017

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2017

* * *

*Все события, происходящие в романе,
вымышлены, любое сходство с реально
существующими людьми – случайно.*

Автор

Пролог

Нидерланды. Поздняя весна 1499 года

Мой город сожран морем.

Погребен в его холодной, набитой рыбой и моллюсками пасти. Никто не спасся, даже любимая кошка дочери бургомистра, даже колокол церкви Святой Агаты. По ночам я слышу его слабый голос, доносящийся сквозь толщу вод. Или мне только кажется, что я слышу?

Мой город сожран морем.

Оно просочилось сквозь дюны, когда все спали – даже любимая кошка дочери бургомистра, даже колокол церкви Святой Агаты. Не спал только ты – Лукас ван Остреа.

Лукас Устрица.

Именно ты виноват в смерти моего города, Лукас Устрица. Будь проклят тот день, когда ты появился в нем. Ты возник из тумана в самом конце улицы, у рыбной лавки одноглазого Рогира. Как раз в тот момент, когда кухарка бургомистра, толстая Ханна, выбирала сельдь для торжественного обеда в магистрате по случаю годовщины корпорации стрелков. Сельдь не нравилась Ханне, и все три ее подбородка отчаянно тряслись. И налитые водянкой ноги тоже тряслись. И единственный глаз Рогира подрагивал – они ни-

как не могли сойтись в цене.

И тогда появился ты, Лукас Устрица.

Тяжелый липкий парус тумана приподнялся, дети перестали играть, мертвые угри приоткрыли глаза, мертвая сельдь приоткрыла рот, а Рогир и Ханна сразу же забыли о своей склоке из-за двух лишних монет.

Красавчик Лукас Устрица с ящичком красок за плечами – даже рыбы хвосты влюбились в тебя. С первого взгляда. Ты потрепал детей по грязным взмокишим макушкам, ты по-дружески подмигнул одноглазому Рогире, а потом почти-ительно спросил у толстой Ханны, как пройти к бургомистру. Сначала Ханна не сообразила, что тебе ответить: все три ее подбородка тоже влюбились в тебя. С первого взгляда. Кровь отхлынула от ее щек, дурная вода отхлынула от ее щиколоток, и ноги ее сразу же стали стройными. Как у девушки.

Клянусь, я сам это видел. Но тогда я и представить себе не мог, какую беду ты приведешь с собой под уздцы, Лукас Устрица. И сказал своей возлюбленной жене... Своей маленькой женеушке, которая сейчас покоится в мрачной утробе моря вместе со всеми, будь ты проклят, Лукас Устрица... Я сказал ей в то утро: «Должно быть, это и есть тот самый мастер из Гента, которого пригласили писать портрет наших стрелков». – «А он хорошенький», – сказала моя возлюбленная жена, моя маленькая женеушка. И коснулась мизинцем уголков губ: так она делала всегда, когда

пребывала в задумчивости. Или в восхищении. Или хотела солгать мне. А потом глаза ее увлажнились и стали такими же темными и блестящими, как загрибок только что пойманного угря. Никогда раньше я не видел у своей Урсулы таких темных и блестящих глаз. Даже когда надевал ей на палец кольцо. Даже когда она сообщила мне, что ждет ребенка, – много позже, когда потоки твоих красок накрыли город с головой, Лукас. «Ты обязательно должен заказать ему наш портрет, Хендрик, ходят слухи, что он очень хороший художник, этот мастер из Гента», – сказала тогда Урсула.

Странно, что эти слухи обошли меня стороной...

Ты поселился у одноглазого Рогира, Лукас Устрица, снял у него три комнаты под мастерскую на втором этаже. И в тот же день был представлен бургомистру, дочери бургомистра и начальнику стрелков.

На кошку дочери бургомистра ты не произвел никакого впечатления. Она оказалась единственной, кого ты оставил равнодушной. Зато ее хозяйка, рыжеволосая Катрин... О, что случилось с первой красавицей нашего города! Она разделила участь всех – она влюбилась в тебя. И сделала все, чтобы разделить твою ложь.

Но это произошло чуть позже. Уже после того, как ты написал групповой портрет наших стрелков. Он был выставлен в магистрате, и это лучшее из того, что я когда-либо видел. Я утверждаю это и сейчас, хотя ненави-

жду тебя, как ненавижу Ад и всех демонов Ада. Он до сих пор стоит у меня перед глазами, этот чертов портрет, вся дюжина стрелков с их начальником Дирком Хемскерком в центре. Дирк получился у тебя отменно, холодный и мужественный, – должно быть, именно таким видела своего мужа жена Дирка в самых постыдных предутренних снах. И юный Иос, сын одноглазого Рогира, получился у тебя отменно: он стоит за спиной Хемскерка, и ужасный шрам на его правой щеке вовсе не выглядит ужасным, – скорее он похож на нежную полусонную веточку вереска. Этот шрам, из-за которого Иос никак не мог жениться, стал вдруг предметом поклонения. Ты вернул Иосу благосклонность всех женщин, Лукас Устрица! Ты стал его первым другом, ты стал другом бургомистра и другом Дирка Хемскерка тоже. А одноглазый Рогир стал давать тебе рыбу бесплатно, лучшую рыбу, – еще бы, ты ведь подарил его сыну надежду на любовь самых красивых невест города! Ты хорошо распорядился этой рыбой, Лукас, – ты просто рисовал ее. И все кошки города – все! – клянусь, я сам это видел, – забыли о настоящих потрохах и розовых жабрах, они целыми днями отирались в твоей мастерской, у твоих картин. И в один прекрасный день передохли от голода, беспомощно глядя на это написанное маслом рыбье великолепие. Все до единой, кроме кошки бургомистра, на которую ты не произвел никакого впечатления... Если бы кто-нибудь задумался, почему это произошло, если бы кто-нибудь решился изгнать тебя,

Лукас Устрица, город был бы спасен. Но никому и в голову не пришло связать смерть несчастных тварей с твоими картинами. Все были ослеплены тобой, а ты все рисовал и рисовал, целыми сутками. После стрелков пришла очередь семьи сборщика податей Яна де Блеса, потом – старшего сына писмоводителя, потом – алтаря церкви женского монастыря Святой Терезы... Тебя завалили заказами на несколько лет вперед только потому, что твои картины были настоящим чудом, Лукас Устрица. Я утверждаю это и сейчас, хотя ненавижу тебя, как Ад, как всех демонов Ада. Ад, Ад... Ад пришел вместе с тобой, вот только мы не сумели разглядеть, мы не испугались его. Мы забыли главное – «*Cave, cave, Deus vivit*»¹. И заплатились за это.

Первым стал юный Иос, сын одноглазого Рогира: его лодка не вернулась с лова угря. Он вышел в тихую, безветренную погоду, когда на небе не было ни облачка, – и больше никто его не видел. Дирк Хемскерк, начальник стрелков, оказался вторым. Дирк умер в своей постели, крепкий Дирк, не болевший даже простудой. Он просто заснул и не проснулся. Жена нашла его, одетого и в башмаках, с соколиным когтем на груди – эмблемой корпорации стрелков. Дирк был именно в той одежде, в которой ты нарисовал его, Лукас Устрица.

Но и тогда никто не забил тревогу. Две смерти, не считая кошек, – и всего лишь за месяц – разве можем мы сказать, мало это или много?.. Оставшиеся стрелки умерли в

¹ «Бойся, бойся, ибо господь все видит» (лат.).

течение следующих девяти месяцев: они встретили смерть по-разному, но всегда в одной и той же одежде.

Именно в той одежде, в которой ты нарисовал их, Лукас Устрица.

От них остался только портрет, прекраснее которого я не видел в жизни, клянусь!..

А потом наступил черед монастыря Святой Терезы. Три монахини и три послушницы разрешились от бремени в один и тот же день. Они родили шестерых младенцев мужеского пола. Все младенцы оказались мертворожденными, а настоятельница монастыря повесилась перед алтарем, который украшал написанный тобой триптих, Лукас Устрица. Ступни матери-настоятельницы смотрели на правую створку триптиха – «Избиение младенцев»...

Признайся, ведь эти шесть мертворожденных произросли из твоего семени, Лукас Устрица! Дьявольского семени, будь ты проклят! В который раз я говорю тебе это?.. Не знаю, может быть, ты и пальцем их не тронул, может быть, это семя капало с кончика твоей кисти – а скорее всего так и было, я уже ничему не удивляюсь.

Никто не служил мессу по Христовым невестам, да и были ли они Христовыми невестами, если ты так легко соблазнил их? И так легко ушел от возмездия: ты успел стать святым для всего города, люди поклонялись твоим доскам, как никогда не поклонялись господу. Толпы зевак торчали под окнами твоей мастерской, в надежде увидеть хотя бы

кусочек алтаря, который ты писал для церкви Святой Агаты.

Апокалипсис – вот что ты писал.

И все знали об этом. И все холодели от этого. И дождаться не могли завершения работы.

Ты никого не пускал к себе, Лукас Устрица. Никого, кроме рыжеволосой Катрин, дочери бургомистра, первой красавицы города. Она была влюблена в тебя, об этом знали все, об этом толстая кухарка Ханна нашептывала рыбам на лотках. Бедняжка Катрин! Она влюбилась в тебя еще до того, как ты нарисовал ее портрет с кошкой на коленях. Влюбившись в тебя, она еще не знала, что ее ждет смерть. Утонула – так же, как и юный Иос.

Вот только сына одноглазого Рогира так и не нашли, а рыжеволосую Катрин – нашли. Но сначала... Что же было сначала?

Сначала была Дева Мария.

Дева Мария, которой тоже было уготовано место в твоём Апокалипсисе.

Ты написал ее с влюбленной Катрин.

С мертвой Катрин.

Никто не знает точно, утонула ли она или утопилась, потому что ты отверг ее, Лукас. А может быть, ты сам подтолкнул несчастную к этому шагу: ведь тебе нужна была идеальная натурщица... Так или иначе, но Катрин исчезла вечером, забыв покормить свою кошку. Кошка промяукала.

ла всю ночь – так рассказывал сам бургомистр, – а наутро у нее выпала шерсть. День спустя, у плотины, рыбаки нашли одежду Катрин, а еще три дня спустя – и саму Катрин. И знаешь, что еще они нашли рядом с телом, Лукас?

Маленькую дощечку с разведенными на ней красками. Твою дощечку.

Признайся, Лукас Устрица, ведь ты с самого начала знал, куда морские воды вынесут тело дочери бургомистра. Ты всегда оказывался в курсе, не было случая, чтобы чужие смерти забыли назначить тебе свидание. А может быть, ты сам выбрал это место у подножия дюн на северной оконечности города? Море, небо и песок создают там необычайно мягкое освещение, ты сам любил говаривать об этом.

Я так и вижу эту картину: мертвая Катрин у самой кромки воды, прикрытая лишь своими волосами. Кожа, облепленная рыбьей чешуей, – ее так и не смогли отодрать; ракушки, что есть силы уцепившиеся за рыжие пряди, – их так и не смогли отодрать. Она была первой красавицей города, но после смерти стала еще прекраснее.

О, как была прекрасна мертвая Катрин, когда ее отпевали в церкви Святой Агапы. Церковь не могла вместить желающих попроситься с дочкой бургомистра, там были все. Все, кроме тебя, Лукас.

Странно, но никто даже не побеспокоился, чтобы одеть ее: нагота Катрин была такой целомудренной, что любая одежда на ней выглядела бы святотатством. Впрочем, свя-

тотатство все-таки свершилось: оно исходило от всех – от мужчин и женщин, пожиравших Катрин глазами. Женщины... Женщин обурежала яростная, неприкрытая, почти животная зависть: им всем хотелось быть такими же божественно прекрасными, как Катрин. Они бы продали душу дьяволу, лишь бы на одно мгновение стать такими же, как она. Я видел это в самой глубине их остановившихся зрачков. И моя жена, моя маленькая женеушка, моя Урсула, – ее тоже не миновала чаща сия. Она хотела быть на месте дочери бургомистра – клянусь, я сам видел это! Зависть так свела Урсулины пальцы, что, когда мы вернулись из церкви, я даже не смог сразу разжать их. А когда разжал, то увидел глубокие порезы от ногтей – порезы с ровными краями; в их глубине стояла тягучая кровь. Ее цвет понравился бы тебе, Лукас, – точно такой же по цвету была застежка на плаще Девы Марии в твоём алтарном Апокалипсисе...

Все эти месяцы я, как мог, оберегал от тебя свою жену: ты должен был писать наш портрет еще в сентябре, но я перенес сеансы на декабрь, а потом – на март. Если бы ты только знал, чего мне это стоило! Я был единственным, кто смутно чувствовал исходящую от тебя угрозу. Почему я был единственным? Почему кроткий господь смотрел на тебя именно моими глазами?.. Я никогда не узнаю этого. Я никогда не узнаю, как тебе удалось овладеть городом – но это случилось. Он созрел, как плод, и упал к твоим ногам, Лукас Устрица. Ты нарисовал почти всех его жителей, всех

его рыб, всех детей, все булыжники и вывески, все кружева и перстни, все вольнки и мушкеты, – ты старательно выкачал из города жизнь и переместил ее на свои чертовы доски.

На свою главную чертову доску (господи, прости меня!) – алтарь для церкви Святой Агааты.

Апокалипсис.

Все ждали, когда он займет свое место в церкви, это было единственным, о чем говорили в городе весь апрель и самое начало мая. Все хотели увидеть Апокалипсис твоими глазами – единственными глазами, которым верили... Все хотели увидеть Апокалипсис и уцелеть. Но так не бывает, когда имеешь дело с концом света, – и получилось, что только я один знал об этом.

Я один.

Почему господь выбрал меня для этого знания?

И почему, понимая неизбежность беды, которая пришла в наш город вместе с тобой, – больше того, – предчувствуя беду, я ничего не сделал, чтобы спасти его? Да что там город – чтобы спасти хотя бы собственную жену, маленькую Урсулу с ямочками на щеках и ребенком под сердцем. Нашим ребенком.

Или он тоже был твоим, Лукас Устрица?

Почему я не смог никого спасти?

Но ведь и Иисус не смог спасти себя, хотя и знал заранее обо всем. И о поцелуе, и о Варазве, и о платке Вероники... Иисус знал – и ничего не сделал. Таким был его путь. Таким

стал и мой путь.

Освящение алтаря было назначено на вторую среду мая. А накануне я уехал. Я был единственным, кто уехал. Я мог остаться в городе еще на день, дела не торопили меня. Но я уехал с печатью молчания на устах. Урсула проводила меня до дверей, я до сих пор помню, как она нетерпеливо переступала теплыми от сна пятками, я до сих пор вижу это. Я до сих пор вижу ее округлившийся живот. Я ждал, что моя жена скажет мне: «Зачем ты едешь, Хендрик, останься...» Так она говорила всегда.

Только не в этот раз.

Такой ли уж неотложной была моя поездка в Утрехт? Но я уехал, нет, я бежал из города. По дороге мне попадались целые семьи рыбаков из окрестных деревушек: мужчины в новых шляпах, мальчишки в камзолчиках с надраенными пуговицами, почтенные матери в новых чулках и чепцах с лентами, собаки с лоснящейся от сытой жизни шерстью. Я знал, куда они шли.

В город, на смотрины нового алтаря церкви Святой Агаты.

Я заночевал на маленьком постоялом дворе, на полпути к Утрехту. Даже здесь слышали о тебе, Лукас Устрица. Странное дело, мир вокруг казался мне тусклым, звезды – слишком высокими, а дюны – слишком серыми. Наш город был совсем другим... Нет, он СТАЛ совсем другим – с тех самых пор, как в нем появился ты, Лукас...

Я долго не мог заснуть – должно быть, ужин в местном кабачке «К трем мухам» был чересчур обилен: омлет, свинина с бобами и воздушный рисовый пирог. А когда наконец-то заснул, то увидел сон.

Я увидел мой город, сладко заснувший в предчувствии твоего Апокалипсиса, Лукас Устрица. Я видел детей, спасших в деревянных кроватях, маленьких люльках и в животах своих матерей. Я видел женщин, прильнувших к правому плечу своих мужей, я видел уснувший колокол церкви Святой Агаты и уснувшие дюны. А потом море затопило их и затопило мой город. Я видел, как волны входят в дома, как хозяева, как они пеняются, и гребни их так похожи на вздыбившиеся гривы коней всадников Апокалипсиса. Холодными руками волны хватали спящих и совали их себе в пасть. И моя Урсула, и мой неродившийся ребенок – они даже не успели позвать на помощь. Вместе с волнами пришли тучи песка и ила, они забивали рты спящим, забивали их закрытые глаза... Смерть их была ужасной.

Никто не спасся.

Никто.

Я проснулся – и сразу же понял, что это не сон. Я не помню, как выбрался с постоялого двора, как пустился в обратный путь, дрожа от страха и отчаяния и проклиная все на свете... Впрочем, далеко я не уехал. Вода остановила меня. В ту ночь она полностью затопила мой город и еще десять деревень в округе: такого наводнения не помнили да-

же старики. Но я знал, что не стоит винить в этом небо.

Стоит винить только тебя, Лукас ван Остреа.

Лукас Устрица.

Стоит винить только тебя, ибо ты – посланец дьявола.

Ты украл у моего города жизнь, а сколько еще городов ты погубил своими картинами, этим исчадьем Ада? Твои картины убивали и убивали, пока не убили всех. Я надеюсь, что и ты подох в волнах, и твои краски подохли, и твои кисти подохли, я хочу верить, что какая-нибудь поднятая с самого дна раковина перерезала тебе горло острым краем... Впрочем, это слишком слабая надежда и слишком шаткая вера – ведь дьявола невозможно уничтожить.

Завтра я отправляюсь в Гент, Лукас. Ведь говорили, что ты пришел из Гента.

У меня ничего не осталось – ни дома, ни жены, ни ребенка. Только ненависть к тебе, и я надеюсь, что господь укрепит меня в этой ненависти. Я, Хендрик Артенсен, пойду по следу твоих картин – ведь именно ими ты мостишь дорогу антихристу. Я буду уничтожать их, если найду. Я узнаю их по нескольким мазкам. Я слишком хорошо запомнил их, слишком хорошо. Быть может, мне удастся спасти от тебя то, что еще можно спасти. Я не знаю всего твоего сатанинского плана, я знаю лишь одно: твои картины – это и есть сам сатана, они искушают, и бороться с этим искушением невозможно.

Но я верю, что господь не оставит меня, а его карающая

десница когда-нибудь достигнет тебя, Лукас.

Она обязательно тебя достигнет...

Часть I

Санкт-Петербург. Лето 1999 года

Порнография ближнего боя.

Я ненавижу это выражение, но не могу от него избавиться. Вот уже три года плюс еще один, который чертов Быкадоров прожил со мной. Порнография ближнего боя – слова, предваряющие любовную игру, артобстрел, точечные удары, – Быкадоров знал толк в точечных ударах, на заре туманной юности он служил в артиллерии... В этих словах было сумасшедшее бесстыдство страсти и какое-то удивительное целомудрие. Они капали с его губ, как яд, а я так и не сумела выработать противоядия. Я до сих пор не нашла его: может быть, поэтому я не замужем. В двадцать девять это почти неприлично, что-то вроде плохо залеченного герпеса или шести пальцев на руке.

Дурацкое выражение «порнография ближнего боя» прочно засело у меня в мозгу. Но с этим можно было смириться. И я смирилась. Я смирялась с этим три года после того, как Быкадоров бросил меня. Я была уверена, что больше никогда не увижу Быкадорова.

Но я ошиблась. Я не знала тогда, что еще раз увижу его. Мертвого.

Итак, мне двадцать девять, в городе плавится асфальт, а

за городом горят торфяники. Впрочем, мое дело тоже горит. Синим пламенем. Крошечная галерейка на Васильевском, угол Среднего и Шестнадцатой линии. С подачи ушибленного мифологией Лаврухи Снегиря она называется «Валхалла» – должно быть, именно это отпугивает клиентов. Мы открывали ее втроем: я, Лавруха и Жека Соколенко. Теперь осталась я одна – Жека погрязла в детях, а Лавруха – в реставрационных мастерских. Мы редко видимся, но это почти не огорчает меня. Неудачник Лавруха напоминает мне о несостоявшейся карьере художника-станковиста, а неудачница Жека – о Быкадорове.

До того, как уйти ко мне и заняться порнографией ближнего боя, Быкадоров служил Жекиным мужем, именно служил. Секс с Жекой Быкадоров характеризовал еще одним стойким идиоматическим выражением, подцепленным в испаноязычной литературе, – «медии трабах».

«Медии трабах» – почти как работа.

Быкадоров был из тех, кто горит на работе: Жека родила двойню, мальчика и девочку – Катю и Лавруху – в честь нашей незабвенной троицы. В честь нашей художественной школы, где Лавруха преуспевал в композиции, Жека – в рисунке, а я – в истории искусств. В журнале мы шли друг за другом – Снегирь, Соколенко и Соловьева, крохотная стая пернатых. Они-то нас и сблизили поначалу, наши птичьи фамилии. Потом была Академия художеств, которая выплюнула в мир одного художника (Жеку) и одного искусствоведа

(меня). Лавруха окончил академию тремя годами позже; год он провел в химико-технологическом и еще два – в университете. И только потом, бросив совершенно ненужные ему вузы, встал под знамена Академии художеств. Белобрысая флегматичная Жека оказалась самой талантливой, ей прочили большое будущее, какой-то заезжий итальяшка с ходу предложил ей стажировку во Флоренции. Но за три дня до отъезда, в зачумленной блинной, Жека встретила Быкадорова. И все пошло прахом. Жека сразу же перестала отличать аквамарин от охры, сунула холсты на антресоли и заставила их банками с солеными огурцами. Впрочем, огурцы недолго томились в изгнании: Быкадоров пил как лошадь и другой закуски не признавал. Целый год Жека скрывала своего муженька от нас с Лаврухой. Снегиря это приводило в ярость: несмотря на два года, проведенных в стенах психфака университета (туда Лавруха сдуру поступил после академии), он так и не научился философски относиться к жизни. Я же ограничивалась ироническим похмыкиванием: любовь зла, на крайний случай и Быкадоров сгодится. Но когда в течение месяца Жека трижды изменила цвет волос, неладное заподозрила даже я. Жека собрала нас на совет (все в той же зачумленной блинной, которая служила теперь местом поклонения) и поведала фантастическую историю о деспотизме Быкадорова.

– Неделю назад он сказал, что ненавидит блондинок, – глотая мелкие слезы, заявила Жека.

– Кэт, у тебя все шансы, – не отличавшийся особым тактом Лавруха дернул меня за рыжую прядь.

– Рыжих он тоже ненавидит... Я перекрасилась в черный, но и брюнеток он не переносит...

– Идиотизм, – резюмировал Лавруха, и было непонятно, к чему это относится – к самой Жеке или к ситуации, в которую она влипла.

– А как насчет шатенок? – Из нас троих я слыла самой практичной.

– Шатенкой была его первая женщина, и опыт оказался неудачным...

– Н-да... Тебя надо спасать. Поехали, Евгения. – Лавруха поднялся из-за стола. – Пора уж нам познакомиться с этой ошибкой природы.

И мы отправились в Купчино, в родовое гнездо Жеки, оккупированное ныне карманным тираном Быкадоровым.

...Вплоть до исхода из блинной я почти ничего не знала о Быкадорове. Он был родом откуда-то из-под Херсона, в Питер попал вместе с партией арбузов, погорел на краже магнитолы из автомобиля и, отсидев два года, устроился дворником. А потом появилась Жека, и обязанности дворника автоматически перешли к ней. Быкадоров же валялся на диване, почитывая Шопенгауэра, Ницше и популярного сексолога Игоря Кона.

– Ты клиническая дура, – пожурил Жеку Лавруха, когда мы выкатились из трамвая, – загубить карьеру и связаться с

таким быдлом... Хотя бы ты ее образумила, Кэт.

Я дипломатично промолчала, хотя была полностью согласна с Лаврухой.

– Вы не знаете его... Не смейте так говорить о нем! – стонала Жека.

Мы действительно не знали его, но это не помешало Лаврухе дать Быкадорову в морду, как только он открыл дверь. Лицо Быкадорова радостно просемафорило красным – удар Снегиря, сокрушающий и унижительный, пришелся по носу, и кровь Быкадорова брызнула во все стороны. Даже Жека опешила от подобной прыти, даже сам Лавруха не ожидал подобной легкой победы. Спокойным остался только Быкадоров. Он с достоинством вытер кровь под носом и, сидя на полу, кротко взглянул на нас.

– Наконец-то ты их привела, – сказал Быкадоров Жеке. – Целый год мечтал познакомиться с твоими друзьями.

– Правда? – Лавруха нахмурился.

– Святая, – подтвердил Быкадоров и кивнул в сторону своей гражданской жены. – Она не даст соврать. Помогите подняться. Такие люди на дороге не валяются.

Лавруха смерил Быкадорова презрительным взглядом, но руку все-таки протянул. Быкадоров тотчас же уцепился за нее и легко вскочил. Теперь я имела возможность по-настоящему рассмотреть Быкадорова.

Ничего особенного.

Ничего особенного на первый взгляд – в речном омуте то-

же нет ничего особенного на первый взгляд: тишь, гладь и божья благодать. Он был чуть повыше мешковатого Снегиря и неизмеримо тоньше. Неправильный череп, застенчиво прикрытый шкуркой черных лоснящихся волос; неправильный приплюснутый нос, неправильные, хищно вывороченные ноздри; неправильные, слишком темные губы, извивающиеся как змеи, неприлично голый детский подбородок... При определенном освещении его даже можно было бы назвать мулатом.

– В каких джунглях ты его нашла? – спросил Лавруха у Жеки, никогда не выезжавшей дальше Выборга.

– Кстати, насчет джунглей, – оживился Быкадоров. – Не выпить ли нам огненной воды?..

Спустя десять минут мы уже пили водку, а спустя еще полчаса Лавруха предложил Быкадорову позировать для очередной заказухи. И я тотчас же пожалела, что давно не пишу сама, а моя жалкая специализация «прерафаэлиты»² не имеет к Быкадорову никакого отношения. Водка делала свое дело, Быкадоров тоже делал свое дело: он не делал ничего. И все же я не могла оторвать от него глаз, уж слишком экзотическим животным он оказался.

Экзотическое животное, именно так. Даже странно, что он умеет разговаривать. И в состоянии поддерживать беседу

² Прерафаэлиты – группа английских художников XIX в., работавших в стиле раннего Возрождения (до Рафаэля).

о прерафаэлитях. Был ли Данте Габриэл Россетти³ великим живописцем – какая разница, если я хочу коснуться тебя, Быкадоров?.. Когда мое поведение стало совсем уж неприличным, я отправилась в ванную, вывернула кран с холодной водой и подставила лицо под упругую струю.

Только этого не хватало – забыть о еще незаконченной прерафаэлитной диссертации так же, как Жека забыла об охре и аквамарине.

...Жека просочилась в дверь спустя две минуты, вытерла полотенцем мои разгоряченные щеки и грустно улыбнулась.

– Ты тоже влипла, – проницательно сказала она.

– О чем ты? – Я по-настоящему струсила.

– О Быкадорове. Тащит, да?

– Прет, – созналась я. – Прости меня.

Скрывать что-либо от Жеки бесполезно: мы знали друг друга много лет, она подправляла мою не совсем удачную живопись – светотень не получалась у меня никогда... И полутона. И теперь – никаких полутонов. Я хотела обладать ее мужем. Или навсегда уйти из ее жизни.

Я ушла из ее жизни. Жека проводила меня до дверей и поцеловала на прощание. Последнее, что я услышала, был голос Быкадорова, доносящийся с кухни. Он спорил с Лаврухой о женском либидо.

Мы перестали видеться с Жекой, зато стали еще больше

³ Данте Россетти – английский художник, основатель «Братства прерафаэлитов».

близки с Лаврухой. Я ходила в его мастерскую на Петроградке, как на работу: раз в неделю по пятницам. И только потому, что в углу, заставленный сухими цветами и драпировками, пылился Быкадоров.

Тогда, за водкой, Снегирю пришла шальная мысль увековечить Быкадорова в образе святого Себастьяна (его живописное изображение заказал Лаврухе поляк Кшиштоф, отчисленный за профнепригодность со второго курса академии). Кшиштоф вернулся в Польшу и удачно пристроился в одном из костелов Щецина. Впрочем, до щецинского костела Себастьян-Быкадоров так и не доехал: богобоязненный Кшиштоф посчитал его изображение слишком уж сексуально-разнузданным.

Конечно же, поляк прав, туго думала я, исподтишка наблюдая за Себастьяном с ноздрями Быкадорова. За год я вдоль и поперек изучила его написанное маслом тело: ни единого волоска на груди, соски, по цвету совпадающие с темными губами, крошечный шрам на бедре, две оспинки на правом предплечье – Снегирь воспроизвел Быкадорова с фотографической точностью. Всепрощающий Лавруха только качал головой и подливал мне чифирь, который по неведению именовал цейлонским чаем. Целый год я провела в его мастерской, забитой латиноамериканскими этюдами, пан-флейтами и кувшинами, выдолбленными из сухих тыкв. Целую стену Лаврухиной мастерской украшали баночки с намертво притертыми пробками. Лавруха пугал меня

историями, которые касались содержимого этих банок. Он уверял меня, что в них хранятся травы из сельв и джунглей, пепел каких-то святых и слюна каких-то богов. Слюна и пепел мало интересовали меня, равно как и какие-то подозрительные латиносы, которые иногда всплывали в его мастерской. Они с удовольствием позировали Лаврухе, а сам Снегирь считал их лучшими натурщиками. Но меня интересовал только один натурщик – Быкадоров. Насмотревшись на него до одурения, я возвращалась к себе.

Тут-то они и начинались. Порнографические сны с пятницы на субботу. Каждый раз, ложась в кровать, я боялась умереть: слишком уж реально Быкадоров обладал мной, слишком уж реально я ему отдавалась. Иногда я пыталась обмануть поджидавшего меня Быкадорова, отправляясь куда-нибудь в ночной клуб или на вечеринку копеечных авангардистов. Впрочем, хватало меня часа на два, не больше: под занавес ночи я хватала машину и отправлялась к себе. Спать и видеть сны. Быкадоров педантично являлся в них, он ни разу не подвел меня и ни разу не разочаровал.

Именно Лавруха сообщил мне, что Быкадоров бросил Жеку. Самым банальным образом: он отправился в булочную в тапочках на босу ногу – и так и не вернулся. А еще спустя полгода Жека родила двойню.

Катю и Лавруху. Имена были даны в честь нас со Снегирем.

Это было прощение. Рука, которую Жека мне протянула.

И я уцепилась за протянутую мне руку, я вновь вернула себе подругу. Я полюбила маленькую Катюку и маленького Лавруху только потому, что на первых порах они были совсем не похожи на Быкадорова. Такие же белобрысые и флегматичные, как и мать.

На имя Быкадорова было наложено табу. Жека не вспоминала его, слишком старательно не вспоминала. Лавруха учил двойняшек рисовать, я учила их говорить, Жека же осуществляла общее руководство. Но спустя два года они перестали быть белобрысыми и флегматичными, Быкадоров полез из них, как лезет сорная трава. Двойняшки темнели, стремительно и вероломно меняя масть, их глаза сузились, а крылья носа раздались.

– Мать твою, – сказала как-то раз Жека, когда мы уложили малышей. – Чертово семя! Ты видишь, как они на него похожи?..

– Что же делать? Не выкинешь теперь.

– Не выкинешь, – согласилась Жека, подтыкая одеяло Лаврентию. – Главное, чтобы не выросли ворами и ублюдками, как их драгоценный папочка.

Я сильно сомневалась, что это было главным.

Как бы то ни было, с рождением Жекиных двойняшек Быкадоров перестал влезать в мои сны, он обходил их стороной.

А потом Лаврухе-старшему пришла в голову светлая идея организовать маленькую картинную галерею: мы арендовали небольшой полуподвал на Шестнадцатой линии, совмест-

ными усилиями привели его в порядок и вывесили несколько десятков работ для пробы. Пятнадцать из двадцати пяти принадлежали самому Лаврухе, которого шарахало из реализма в авангард и обратно. Снегирь раскупался из рук вон, зато хорошо пошел полунищий и почти испитой Дюха Ушаков. На Дюхе мы сделали свои первые пять тысяч долларов, купили на корню трех выпускников академии и отправили Жеку с детьми в Турцию на отдых. Из Турции Жека привезла лихорадку, и это стало началом черной полосы: Дюха соскочил в арт-галереи на Невском с перспективой персональной выставки в Нью-Йорке, три выпускника уехали в Германию, даже не сказав нам последнее «прости». Картины Снегирия пылились на стенах, на других художников не было денег, а моя карьера владелицы галереи закончилась, не успев даже как следует начаться.

Вот тут-то и появился Быкадоров.

Я нашла его в своей квартире поздно вечером, вернувшись из галереи. Быкадоров валялся на диване в одних шортах и пожирал грецкие орехи, с оказией присланные матерью из Самарканда. Самым странным было то, что я даже не удивилась его присутствию. Я не спросила его, как он проник в дом, как он вообще узнал мой адрес и где был последние два года. Быкадоров стряхнул скорлупки орехов на пол и улыбнулся мне голым, почти детским подбородком.

– От кошки придется избавиться, – сказал он мне. – У меня аллергия на шерсть.

– Это кот, – спокойно сказала я, присев на кончик стула напротив Быкадоровова.

Мой сиамский кот, несчастный кастрат Пупик, тотчас же подал голос: прежде чем улечься с грецкими орехами на диван, Быкадоров запер его в ванной.

– Один черт. – Быкадоров обнажил неприлично белые клыки. – Или он, или я.

– Ты, – сказала я, расстегивая пуговицы на блузке.

– Не будем торопиться, – умерил мою прыть Быкадоров.

– Ты знаешь, что у тебя двое детей? – с ненавистью প্রশেптала я, но стрелы не достигли цели.

– Думаю, их гораздо больше.

– Учти, красить волосы ради тебя я не буду. – Вранье выглядело неубедительно, но Быкадоров сделал вид, что не заметил этого.

– Не надо. Мне нравятся рыжие старые девы. Но только без котов.

– Не такая уж я и старая. И не такая дева, как может показаться на первый взгляд.

– Прости. Я не хотел тебя обидеть...

– Ты не можешь меня обидеть. – Его тело, тело, которое я так хорошо изучила в мастерской Лаврухи и в своих собственных снах, сводило меня с ума. – Я отвезу кота твоей бывшей жене.

Одним махом я предала и кроткую Жеку, и кротких двойняшек, один из которых носил мое имя, и кроткого Пупика

заодно – предала и сама не заметила этого.

– Завтра, – жестко сказал Быкадоров. – Нет, послезавтра.

– Почему послезавтра? – глупо спросила я. – У тебя же аллергия на шерсть...

– Потому что ближайшие два дня я не намерен расставаться с тобой. Как у тебя с продуктами? После любви мне всегда хочется жрать.

Я заверила Быкадорову, что с продуктами все в порядке, и снова потянулась к пуговицам.

– Нет, – сказал Быкадоров и снова обнажил клыки. – Нет. Я сделаю это сам. Иди сюда.

Секунда, отделяющая меня от тела Быкадорову, показала мне вечность: я успела несколько раз умереть и несколько раз родиться, прежде чем он заключил меня в объятия.

– Порнография ближнего боя, вот как это будет называться, – прошептал Быкадоров, и лезвия его губ сладко полоснули меня по мочке уха. – Я буду сражаться с тобой до тех пор, пока ты не попросишь пощады. Ты не против?..

Как я могла быть против?

...Два дня мы провели в постели. Мы сказали друг другу не больше сотни слов, но говорить с Быкадоровым было вовсе не обязательно. Главным было его тело – тело святого Себастьяна. Он обратил меня в веру своего тела так же, как сам святой Себастьян обратил в веру Марка и Маркеллина. Мы разбили телефон и прожгли диван, мы исцарапали друг

друга в кровь и сами же зализали друг другу раны, мы едва не раздавили кота, когда Быкадорову захотелось проделать *это* на полу в ванной, и едва не обварились горячим вином, когда Быкадоров решил соорудить глинтвейн.

На третий день Быкадоров отвалился от меня, как пиявка. Он лежал на ореховых скорлупках, опустошенный и самодовольный, куря и стряхивая пепел мне в ладонь.

– Теперь ты можешь увезти кота, – сказал наконец Быкадоров.

– Где ты пропадал столько лет? – спросила я, оттягивая момент облачения во власяницу, которая лишь по недоразумению называлась моей собственной одеждой. За два дня я отвыкла от всего, кроме оголенной, как провода, кожи – своей и Быкадорова.

– Это имеет значение?

– Нет. – Это действительно не имело никакого значения. Значение имели его филиппинские глаза, его норманнский рот, его индейские волосы, лоснящиеся, как змеиная чешуя. – Я предала всех, кого могла.

– Ничего не поделаешь. Любить одних всегда означает предавать других.

Для херсонских бахчевых культур его голова неплохо соображала.

Посадив ошалевшего Пупика в корзинку для фруктов, я отправилась в Купчино и, стоя на эскалаторе в метро, поклялась себе, что ни словом не обмолвлюсь о Быкадорове. Я го-

това была гореть в аду, но втайне надеялась, что сторю еще раньше, в топке быкадоровского паха.

Эскалаторную клятву пришлось выбросить на помойку, как только Жека открыла дверь. Она втянула воздух невыразительными северными ноздрями и уцепилась за дверной косяк.

– Он вернулся, – просто сказала Жека. – Он вернулся, и ты с ним переспала.

Я заплакала.

– Не реви. Он вернулся, ты с ним переспала и решила это скрыть, да?

– Но как ты...

– Запах. – Жека еще раз обнюхала меня. – Это *его* запах. Он метит свою территорию. Ты ведь теперь его территория, и он наследил везде, где только можно наследить...

Конечно же, *его* запах выдал меня с головой: запах старых открыток в букинистическом на углу, запах нагретого камня, запах молотого кофе, рыбьих потрохов, ванили и раздавленного пальцами кузнечика.

Адская смесь.

– Тетя Катя, тетя Катя! – Катька-младшая повисла на мне, а независимый Лавруха-младший принялся дергать Пупика за усы.

– Могла бы детям хоть батончик купить. Шоколадный, – укоризненно сказала Жека, пропуская меня в квартиру.

– Я забыла... Но ведь ты тоже бы забыла, да?

– Да. Не волнуйся, теперь это не имеет никакого значения.

Ты сказала ему о детях?

– Открытым текстом.

– Мне плевать, как он отреагировал. – Жека прекрасно знала, как может отреагировать на приплод самец-одиночка Быкадоров.

– Не плевать, – я еще раз всхлипнула. – И на него не плевать...

– Плевать. – Жека почесала почти несуществующую бровь. – Когда он отвалит в булочную и больше не вернется, тебе тоже будет плевать. А за Пупиком мы присмотрим, не волнуйся.

Жека как в воду глядела...

Быкадоров исчез через год, хотя все это время я была настороже и ни разу не позволила ему сходить в булочную. Он испарился в самом начале зимы, не оставив даже следов на только что выпавшем снегу. Два дня я решала, к какому способу самоубийства прибегнуть, а на третий села за диссертацию о прерафаэлитях. Пупик, так до конца и не простивший меня, снова воцарился в квартире, первым делом нагадив в мои единственные приличные ботинки. Следом явился Снегирь с нудным, как вечный двигатель, тезисом о возрождении галереи.

...Первым мы продали лже-Себастьяна со всеми его оспинками, темными сосками, безволосой грудью и маленьким шрамом на бедре. Я легко рассталась с ним – так же легко,

как и с самим Быкадоровым; так же легко, как с непристойными снами о нем в ночь с пятницы на субботу. Вот только дурацкое выражение «порнография ближнего боя» прочно засело у меня в мозгу.

* * *

...Я так и не дождалась телефонного звонка от атташе по культуре из шведского консульства. Она забрела в «Валхаллу» случайно, только потому, что решила затариться в ближайшем к галерее супермаркете; в супермаркете был технологический перерыв, до конца которого оставалось десять минут. Конца же июльскому пеклу не предвиделось, и атташе решила скоротать время под родной ее шведскому сердцу вывеской «Валхалла».

«Валхалла» оказалась картинной галереей, а я – ее деморализованной жарой владелицей, единственным живым существом среди пустынных пейзажей Снегиря и керамических козлов его приятеля Адика Ованесова. Скульптор-неудачник Адик снабжал нас стадами этих дивных животных в неограниченном количестве.

– The weather is terrible⁴, – на хорошем английском сказала мне атташе по культуре и попросила каталог.

– It is very hot⁵, – на плохом английском ответила я, про-

⁴ Какая отвратительная погода (англ.).

⁵ Очень жарко (англ.).

клиная бедность, которая не допускала даже мысли о каталоге.

Атташе улыбнулась мне, прошлась по двум зальчикам, едва не задела мощными мифологическими бедрами одного из козлов и приклеилась к картине Снегиря «Зимнее утро». Еще ни разу я не видела, чтобы кто-то так пожирал глазами безыскусно написанный маслом снег.

– What is price of this? – тяжело дыша и вытирая салфеткой взопревшую холку, спросила меня атташе.

Вот ты и попалась, Ингрид (или Хильда, или Бригитта, или Анна-Фрида), жара сыграла с тобой злую шутку, сейчас главное – не продешевить, снег стоит дорого, фрекен, тем более таким непристойно жарким летом.

Мы сошлись на пятистах долларах. И обменялись телефонами.

Крутобедрая Ингрид (или Хильда, или Бригитта, или Анна-Фрида), растянув в улыбке блеклые губы, сказала, что позвонит ровно в четыре и подъедет за картиной.

«Нужно было заломить шестьсот», – меланхолично подумала я.

...Звонок раздался без семи четыре. Надо же, как припекло, нужно выждать три звонка и только потом снять трубку. Это прибавит солидности. И мне, и «Валхалле». А вечером можно будет прикупить на комиссионные помаду и лифчик, поехать к Адику Ованесову с холодным пивом и успеть вернуться домой до разведения мостов.

Мосты – это святое.

Если бы я знала тогда, какие странные и страшные события последуют за этим звонком, я бы просто не сняла трубку. Ни на три звонка, ни на шесть, ни на девять. Но я сняла ее, даже не предполагая, какой опасности подвергаю себя и своих близких. Я сняла ее, и это стало моим первым ходом в смертельной игре, правила которой я узнала лишь в самом финале. Когда занавес раскрылся в последний раз и на поклон вышел убийца.

– Слава богу, ты здесь, – услышала я на том конце провода голос Жеки. Нет, это был не голос – лишь его слабое подобие, вылинявшая шкурка, скелет, деформированный ужасом. У меня подкосились ноги, и я вцепилась в край стола, чтобы не упасть.

– Что?! – заорала я в трубку, и мой позвоночник окатило холодной волной. – Что случилось? Что-то с детьми?! Жека, Жека...

– Нет, – прошелестела Жека, и я почти физически ощутила, что она близка к обмороку. – Дети еще в Зеленогорске, на даче. Я приехала одна... Быкадоров. Он здесь, в квартире.

Три года я запрещала себе произносить его имя, оно никогда не всплывало в наших с Жекой разговорах, когда мы простили друг друга. Это было добровольное табу, печать на устах, запрещенные песенки.

– Он здесь, – еще раз произнесла Жека. – Он здесь, и он мертв.

– Ты с ума сошла...

– Сойду, если ты сейчас не приедешь.

– Звони в милицию. Я приеду, звони в милицию...

– Если бы ты видела... Приезжай. Я никуда не буду звонить, пока ты не приедешь.

– Хорошо. Я беру машину. Буду у тебя через полчаса. Ты выдержишь?

– Приезжай...

Я выскочила из «Валхаллы», напрочь забыв об Ингрид-Хильде-Бригитте-Анне-Фриде из шведского консульства и спустя двадцать пять минут была возле Жекиного дома в Купчине. Она ждала меня на скамейке у подъезда, сжавшись в комок. Светлый Жекин сарафан вымок от пота, а лицо – от слез. Она вцепилась в мою руку, больно оцарапав ладонь ногтями.

– Пойдем, – сказала я.

– Нет... Подождем немного. Меня вырвет. Меня уже вырвало.

– Хорошо. А теперь объясни, что произошло. Ты ведь должна была вернуться в пятницу, а сейчас только среда...

– Ты хотела, чтобы я приехала в пятницу?.. Боже, боже... Я сама не знаю... Проснулась сегодня в пять утра. Нет, не проснулась... Села в кровати и поняла, что должна быть в Питере.

– Предчувствие?

– Нет... Нет... Я просто *должна* была приехать. Представ-

ляешь, если бы я вернулась в пятницу с детьми и они бы увидели весь этот ужас...

– Ужас?

– Идем, – сказала Жека, и боль в ладони от ее ногтей стала невыносимой. – Он там. Идем, ты все увидишь сама.

Когда мы вошли в подъезд, решительность сразу же покинула Жеку. Мне пришлось волоком тащить ее по ступеням, она то и дело останавливалась и хваталась за перила. На третьем этаже ее снова вырвало.

– Черт возьми! – Я даже рассердилась на нее. – Держи себя в руках, Жека.

– Посмотрим, как ты будешь держать себя в руках, когда увидишь *все это*...

В квартиру она так и не зашла, осталась сидеть на лестничной площадке. Устав сражаться с ее страхами, я толкнула дверь и оказалась в прихожей, знакомой до последней мелочи: ботинки Лаврухи-младшего под вешалкой, куртка Катки-младшей на вешалке, Жекина дубленка, мой плащ, ватник Снегиря...

Я сразу почувствовала запах. Нет, не запах разлагающегося тела, а запах самого Быкадорова. Адскую смесь, в которой первую скрипку играл кузнечик, раздавленный в пальцах. Я пошла на запах, мимо гостиной и детской – в Жекину спальню. Дверь была приоткрыта ровно настолько, насколько Жеке хватило сил приоткрыть ее. С внутренней стороны она была забаррикадирована трюмо, на котором Жека дер-

жала кремы от морщин, ватные шарики для снятия макияжа и полуистлевшую коробочку «Коко Шанель».

Я протиснулась в узкую щель и оказалась в спальне.

Запах раздавленного кузнечика стал нестерпимым – в кресле против окна сидел Быкадоров.

Мертвый Быкадоров.

Комната поплыла у меня перед глазами: я видела его черную макушку, схваченную первым хрупким ледком седины (что с тобой, Быкадоров, ты изменил себе, седина так не вяжется со святым Себастьяном), его опущенные плечи, на которых я столько раз бывала распята, как на кресте. Я все еще не решалась взглянуть ему в лицо. Тело – вот что сбило меня с ног: оно не отпускало меня, даже мертвое.

Быкадоров был абсолютно голым. Ничего удивительного, если ты собираешься жить. Но для смерти можно было бы выбрать одежду попрстойнее. Я коснулась плеча Быкадорова: оно было холодным, нет – прохладным. Никаких следов насилия, даже постельные баталии обходились ему дороже... Это успокоило меня, и я наконец-то решилась.

Его лицо, совсем незабытое, знакомое до последней поры и трещинки на губах, стало еще красивее. Нет, оно стало дьявольски красивым. Именно – дьявольски: в мертвых глазах поблескивал незнакомый мне потусторонний огонь. Я пошла вслед за этим огнем, по направлению взгляда, и уткнулась в батарею отопления... Нет, *в то, что стояло* у батареи.

Небольшая доска, старая картина, полустертые изображе-

ние.

Мое собственное изображение.

Голый мертвый Быкадоров смотрел на меня.

На секунду мне показалось, что я теряю сознание. Я села на краешек кровати: картина у батареи и тело Быкадорова раздирали меня на части.

Нет, конечно же, это была не я – во всяком случае, сходство было не таким пугающим, как могло показаться на первый взгляд. Только рыжие волосы и овал лица. И еще, пожалуй, глаза и чуть приподнятые кончики губ. Лоб был слишком высок, должно быть, подбрит, как у всех случайных моделей Лукаса Кранаха. Только одно я знала точно: этой вещи *никогда* не было в нашей жизни, она никогда не принадлежала нам – ни Жекиной квартире, ни моей галерее, ни мастерской Снегиря. Значит, ее принес Быкадоров. Принес, закрылся с ней в комнате, разделся догола и умер, глядя на нее.

Я заставила себя встать с кровати и подойти к окну. И коснуться картины. Она оказалась прохладной – такой же прохладной, как и плечо Быкадорова. Она не принадлежала не только этой квартире, но и этому веку, я сразу же определила это, недаром столько лет меня мурыжили в Академии художеств со всеми вытекающими отсюда последствиями.

Как же она хороша, черт возьми! Даже несмотря на холод, идущий от нее. Я дотронулась до рыжих волос девушки и вскрикнула: мне показалась, что веки ее задрожали. И только тогда мне в нос ударил запах уже начавшей гнить плоти.

Я в ужасе обернулась на тело Быкадорова. Еще минуту назад он был совершенен, теперь же я увидела трупные пятна, взрывающие его тело, расползающиеся по нему, как тараканы.

Остаться в спальне было невыносимо. Я выскочила оттуда, в самый последний момент прихватив доску и с маху закинув ее на стенку, под коробку от радиотелефона «Панасоник», к сломанным роликам Лаврухи-младшего: с подбритым лбом девушки я разберусь потом. Отдышавшись и волевым усилием подавив тошноту, я набрала номер милиции.

Из всей нашей троицы я слыла самой практичной.

* * *

Они не заставили себя долго ждать и приехали почти сразу. Еще до того, как я успела выстроить линию поведения и забрать с площадки Жеку.

Первым в квартиру протиснулся относительно молодой человек со строгим ежиком на голове и такой же строгой вертикальной морщиной между бровями. Казалось, ему совершенно плевать на жару: твидовый пиджак был абсолютно стерилен и даже не морщил под мышками. Следственная бригада занялась телом Быкадорова, а мы с твидовым пиджаком уединились на кухне.

– Капитан Марич. Кирилл Алексеевич, – представился твидовый пиджак.

– Соловьева. Екатерина Мстиславовна, – отчеканила я, с трудом подавляя желание рассказать строгому юноше всю свою биографию.

– Вы обнаружили труп?

– Нет. Труп обнаружила хозяйка.

– А вы не хозяйка?

– Я – подруга хозяйки.

– А где она сама? – Марич приподнял брови.

– На лестнице. Боюсь, она сейчас не в состоянии давать показания.

Марич посмотрел на меня неодобрительно, но оставил мое замечание без комментариев.

– Разберемся, – он щелкнул авторучкой. – Теперь вы. Вам знаком э-э... пострадавший?

– Да, – запыраться было бессмысленно. – Его фамилия Быкадоров. Он бывший муж моей подруги.

И твой бывший любовник, Катя Соловьева. Но этого не стоит заносить в протокол.

– Быкадоров. Странная фамилия...

Действительно странная, почему я раньше никогда не думала об этом? Помесь тореадора и быка, которые так и не смогли победить друг друга.

– Значит, труп обнаружила хозяйка. Вы зашли вместе с ней?

– Нет. Она позвонила мне, попросила приехать, сказала, что в квартире... – я сделала паузу, чтобы набрать воздуха, –

что в квартире мертвое тело... Тело ее бывшего мужа.

И твоего бывшего любовника, Катя Соловьева. Тело, которое сводило тебя с ума, но этого не стоит заносить в протокол.

– А почему она позвонила вам? Почему сразу не обратилась в органы?

– Она была напугана. – Я старательно подбирала слова, боясь предать Жеку: ведь я уже предала ее один раз. – Представьте себе: вы входите в квартиру и обнаруживаете своего бывшего мужа мертвым... Очевидно, у нее хватило сил только на один звонок, очевидно, ей хотелось, чтобы рядом с ней был близкий человек. Пока весь этот кошмар не закончится.

– Она позвонила, вы приехали и... – Марич принялся грызть колпачок ручки совсем по-детски: в пятом классе я тоже грызла ручку, корпя над математикой.

– ...и сразу же позвонила вам, – соврала я.

– А в комнату вы не входили?

– Заглянула. – Если уж начала врать, то ври до конца, только тогда ложь сложится во вдохновенную правдивую партитуру: фаготы, валторны, арфа и большой барабан.

– Значит, заглянули.

– Поняла, что Жека... Евгения, моя подруга, говорит правду, и сразу же позвонила. Вы очень оперативно приехали.

Марич пропустил мою мелкую заискивающую лесть мимо

ушей.

– Я так понял, что вашей подружки не было несколько дней.

– Она была с детьми на даче, под Зеленогорском. У нее двое детей. Вернулась сегодня днем... И вот, пожалуйста.

– Это дети э-э... потерпевшего? – Кирилл Алексеевич проявил недюжинную для капитанских звездочек смекалку.

– Да. Но Быкадоров оставил их еще до рождения. Он много лет с ними не живет.

– Как же он попал в квартиру?

Точно так же, как попал в квартиру ко мне, материализовался из воздуха, вот и все. Для тела Быкадорова не было преград, будь то стена панельного дома или кожа влюбленной женщины.

– Должно быть, у него был ключ. – Будет лучше, если я оставлю свое скорбное знание при себе. – Сохранился с прошлых времен.

– У кого еще был ключ от квартиры?

Только у меня и у Лаврухи Снегира, крестных папы и мамы двойняшек. Теперь крестная мама сидела перед капитаном Маричем, а крестный папа вот уже полтора месяца гнил в Псковской области, на реставрации какого-то храма. Почетная ссылка, если учесть, что до Псковской области Лавруха объездил пол-Европы и три месяца прокантовался в Мексике, изучая монументальное наследие Сикейроса⁶. Сикейроса он терпеть не мог, но души не чаял в Латинской Аме-

⁶ Сикейрос Альфаро (1898–1974) – мексиканский художник.

рике. Именно оттуда он привез все свои баночки и патологическую любовь к латиноамериканцам.

– Ключ был у меня, – сказала я, умолчав о Лаврухе: не стоит впутывать его в эти неприятности. – Он и сейчас у меня.

– Ну да. Вы ведь близкая подруга...

Дверь на кухню приоткрылась, и в проеме дверей показалась лохматая голова.

– Ты сильно удивишься, Кира, но, кажется, это тот самый парень, который наследил у Гольтмана в Павловске. За ним еще пара дел. На него уже была ориентировка.

– Скоро закончите? – Ни один мускул не дрогнул на лице Марича.

– Не можем найти его одежду. Не голым же он сюда ввалился, в самом деле, – пророкотала голова и исчезла.

– Н-да... – Кирилл Алексеевич откинулся на спинку стула и пристально посмотрел на меня. – Слышали? Не такой уж он безобидный, бывший муж вашей подруги. Вы кем работаете, Катерина Мстиславовна, что-то я запамятовал...

– Запамятовали спросить, – огрызнулась я. – У меня арт-галерея на Васильевском.

– Так-так, картинная галерея. – Ручка Марича зацарапала по бумаге. – Очень интересно. Фамилия Гольтман вам о чем-нибудь говорит?

Единственный Гольтман, которого я знала, золотушный Ося из параллельного класса, счастливый обладатель коллекции марок по экстремальным видам спорта, уже много

лет жил в Хайфе.

– Нет. Фамилия Гольтман ни о чем мне не говорит.

– Странно. Вы занимаетесь картинами, у вас галерея, и вы слыхом не слыхивали об Аркадии Аркадьевиче Гольтмане...

Черт возьми, ну конечно же, полгода назад, трясясь в метро, я подсмотрела это имя в газете у соседа по вагону, мрачно читавшего газету. Аркадий Аркадьевич Гольтман был заключен в черную траурную рамку. Друзья и близкие скорбят о безвременной кончине... Крупный коллекционер... Камеи, миниатюры и коллекция живописи барокко...

– Подождите... Это коллекционер, да? Живопись барокко.

– Вот видите. – Марич почти влюбленно посмотрел на меня. – А говорите, что не знаете.

– Но ведь он умер что-то около полугода назад. Я читала некролог.

– Он-то умер, а наследники живы-здоровы. Вернее, наследник. Иосиф Семенович, племянник покойного. Его обокрали неделю назад. Судя по всему, бывший муж вашей подруги принял в краже самое непосредственное участие.

– Я должна вздеть руки к небу? – нагло спросила я, злясь на себя, а еще больше – на Быкадорова. Ну конечно же, мой святой Себастьян был фартовым вором, разве что слепой не заметил бы этого. Только фартовый вор мог легко проникать в чужие квартиры, взламывать чужие сны и без всяких отмычек отпирать сердца влюбленных женщин... А кража магнии-

толы много лет назад была лишь детской шалостью. Потом Быкадоров подрос и решил заняться чем-то более серьезным и респектабельным.

– Совсем необязательно. Мне бы хотелось посетить вашу картинную галерею. Где, говорите, она находится?

– Васильевский остров, угол Среднего и Шестнадцатой линии. Я бываю там с десяти до пяти, кроме суббот и воскресений. Милости прошу. Может быть, выберете что-нибудь для жены. Или тещи. Если, конечно, вы не стеснены в средствах.

– Увы, – интимно осклабился Марич. – Боюсь, что карман не позволит. Наше единственное богатство – это наши головы.

– Не переживайте, капитан. Бедность не порок.

Марич не нравился мне все больше и больше, я видела этого человека насквозь. Я читала его мысли. Еще бы, похититель произведений искусства и владелица картинной галереи, ночной воришка и дневная сбытчица – премиленькая связка альпинистов, след в след, полное взаимопонимание. Он уже выстроил схему, которой будет придерживаться, это было видно по его глазам и морщинке между бровями.

– А вы занятная девушка, – промурлыкал Кирилл Алексеевич.

– Это вы тоже внесете в протокол?

– Воздержусь. Распишитесь, пожалуйста, – он подsunул мне листок, и я, не глядя, подписала его. – Если вы нам по-

надобится, мы вас вызовем.

Марич легко поднялся со стула, прошелся по кухне и выглянул в коридор.

– Пригласите хозяйку, – властно приказал он отирающе-муся у входной двери участковому. – Она на лестнице.

– Может быть, не стоит? – Попыталась я остановить капитана.

– Что стоит, а что нет, решаю я.

Решаешь ты, черт бы тебя побрал.

Я вышла из кухни со стаканом воды и отправилась на лестницу, где, всеми забытая, все еще сидела Жека. Отстранив неповоротливого участкового, я склонилась над ней.

– Ну, ты как?

– Могло быть и лучше. – Зубы Жеки застучали о край стакана. – Забери меня отсюда... Я не могу...

– Конечно. Вы пока поживете у меня. Ты и Лавруха с Каткой, когда вернутся. Сегодня же позвоним Снегирию... Сейчас с тобой побеседует один хмырь, и мы поедем домой...

Отдав Жеку на растерзание Маричу, я осталась в коридоре. И спустя несколько минут из коротких реплик оперативников воссоздала относительно цельную картину происшедшего.

Быкадоров умер предположительно около полутора суток назад (более точное время установит вскрытие), предположительно от инфаркта (более точную причину установит вскрытие). Никаких следов насильственной смерти. Ни-

каких следов одежды. Ситуация достаточно ясна, дело можно сдавать в архив.

Но никто не знал больше, чем знала я.

Картина, лежащая под коробкой от радиотелефона, рядом со сломанными роликами Лаврухи-младшего. Рыжеволосая девушка, так пугающе похожая на меня.

Я еще могла сказать о картине капитану Маричу, но так и не сделала этого.

Потом я часто спрашивала себя – почему же я не сделала этого? Только ли потому, что капитан сразу же заподозрил в сообщничестве владелицу картинной галереи? Или я просто захотела еще раз взглянуть на подрагивающие веки девушки?..

Как бы то ни было, я промолчала, я передвинула фигуру и сделала второй ход...

* * *

Через четыре часа мы уже были на Васильевском. Капитан Марич, вислоусый участковый у порога квартиры и свора оперативников – весь раскаленный ужас раскаленного июльского дня был позади. Быкадорова отвезли в морг, млеющие от неожиданной причастности к смерти понятия разошлись по домам, а в большой холщовой сумке, между Жекиной ночной рубашкой и пижамкой Катьки-младшей лежала картина. Я сама собирала баулы, совала в них вещи, которые

могли бы пригодиться Жеке и ребятам на первое время, – и не нашла ни одной тряпки, принадлежащей Быкадорову. Похоже, он действительно проник в квартиру голым. Это не укладывалось в моей голове, но было не самым странным обстоятельством. Совсем другое беспокоило меня. И это другое требовало от меня бесстрашия. А сейчас слишком жарко для бесстрашия.

Ночью, когда спадет зной, – только тогда я смогу позволить себе быть бесстрашной.

Я волочила за собой вконец измотанную Жеку и думала о Быкадорове. Я любила его, я действительно его любила, я могла бы подтвердить это под любой присягой, не боясь быть уличенной в лжесвидетельстве. Почему же его смерть не произвела на меня никакого впечатления? Даже в смерти какого-нибудь ручного скворца я приняла бы большее участие. Отрывающиеся от блузки пуговицы, сны в ночь с пятницы на субботу, ошетилившиеся от страсти волосы на затылке, вздыбившиеся ресницы, опрокинутые зрачки – порнография ближнего боя, которая пахивала кофейными зернами, – ведь все это было со мной. Ради него я предавала и готова была предать еще не раз, только бы окунуться в его тело. И вот теперь он мертв – и это не имеет для меня никакого значения.

Я свободна.

Впервые за последние шесть лет я поняла, что свободна. Ключи от одиночной камеры моих страстей все это время

находились в бездонных карманах Быкадорова. Теперь тюремщик мертв, и я могу выйти на свободу.

В ближайшем ночнике с прозаическим названием «Костыль» мы купили литровую бутылку водки и банку херсонских килек в томате – последний салют мужу, отцу и любовнику, прощальный залп из тридцати трех стволов: Быкадоров оценил бы этот жест.

После второй рюмки Жека разрыдалась, а после четвертой я попросила у нее прощения.

– Ну вот, – сказала мне Жека. – Вот мы и освободились.

Судя по всему, ее одиночная камера находилась рядом с моей.

– Я люблю тебя, Катька... И дети тебя любят. Обещай мне, что ты никогда о нем не вспомнишь.

– Я уже обещала тебе... Три года назад.

– Да... А теперь пообещай еще раз.

Я еще раз пообещала, уложила вдрызг пьяную Жеку в кровать и отправилась звонить Снегирию в Опочку Псковской области. Он сунул мне номер телефона на вокзале, когда мы с Жекой провожали его. Я не думала, что мне придется воспользоваться этим телефоном, – много чести для Снегирия. И вот теперь я накручиваю диск, чтобы сообщить ему о смерти «Святого Себастьяна».

Сонный Лавруха не сразу понял, о чем я говорю ему, но, когда понял, среагировал мгновенно:

– Сукин сын! Интересно, почему он приперся к Жеке, а

не к тебе? Ведь ты же была последней в списке... Младшей любимой женой.

– Думаю, что последней была далеко не я, но сейчас это не имеет никакого значения. Когда ты сможешь приехать?

– Когда?..

Я представила себе, как Лавруха в раздумье почесывает теплую от сна и еще плохо соображающую задницу.

– Приезжай, Жеке нужен курс реабилитации.

– А тебе?

– Я в порядке.

– Подозревал, что все искусствоведы – бездушные циники... Ладно, в ближайшие три дня объявлюсь.

– Два, – поправила Лавруху я.

– Хорошо, – зевнул он и отключился.

Положив трубку, я прикрыла спящую Жеку простыней. Два часа, огрызок белой ночи, ни то, ни се, – но самое время для бесстрашия. Холщовая сумка с картиной, слишком уж небрежно брошенная в прихожей, манила меня. Я с трудом поборола искушение, допила остатки водки, вернулась в комнату, устроилась в Жекиных ногах.

И заснула.

А проснулась оттого, что в коридоре отчаянно выл Пупик, а Жека отчаянно трясла меня за плечо.

– Катька, – придушенным голосом прошептала Жека. – Чего это он, Катька?

– Не знаю... Кошку хочет, – брякнула я первое, что при-

шло на ум.

– Какую кошку, он же кастрат!..

– Мало ли, может, фантомные боли...

– Пойди успокой его, Катька. Иначе я с ума сойду... Господи, голова раскалывается...

За плотно прикрытой стеклянной дверью бродили пред-
рассветные тени, предрассветные шорохи и вздохи. Я вдруг
вспомнила девушку с картины – мгновенный взмах ее рес-
ниц – взмах, который легко мог переполошить стаю голубей
и заставить их подняться в бледное небо...

– Катька!.. Уйми его, пожалуйста.

Все еще плохо соображая, я отправилась в коридор.

Пупик сидел возле сумки и издавал горлом утробные зву-
ки. Я погладила его по спине.

– Какого черта, Пупий Саллюстий Муциан?!

Кот сразу же перестал ныть и уставился на меня.

– Идем, задам тебе корму, раз уж проснулась... Гад ты,
Пупик!

На кухне я призывно потрясла коробкой с сухим кормом,
но Пупик даже не подумал выдвинуться в сторону своего
блюдца. Он по-прежнему сидел в коридоре и вертел голо-
вой – в мою сторону и в сторону сумки. Он выбирал и никак
не мог сделать выбор.

Давно пора это сделать.

Присев рядом с Пупиком, я открыла сумку, вытащила пи-
жаму Катьки-младшей и коснулась рукой картины. И тотчас

же отдернула пальцы.

Поверхность картины была живой.

Прохладной и податливой, как кожа. Как плечо Быкадорова, о котором я поклялась не вспоминать до конца дней своих.

Похоже, нужно убираться из этого города, где даже ночи толком не бывает: так, стоячая вода в каналах, потерянные души в колодцах дворов и выщербленный парапет...

Пупик неожиданно успокоился, переложив всю ответственность на меня, и, тряся хвостом, отправился к своим сухарям. Я же, здраво рассудив, что картина может подождать до утра, вернулась в комнату и снова улеглась в Жекиных ногах. Спать больше не хотелось, и я принялась размышлять о событиях вчерашнего дня. Стройной картины не получилось, а вопросов оказалось гораздо больше, чем ответов.

Почему Быкадоров отправился умирать к Жеке?

Почему он сидел в кресле совершенно голый и где одежда, в которой он пришел?

Откуда эта картина? Здесь я поставила осторожный плюс, воспользовавшись информацией, которую получила от Марича: скорее всего Быкадоров просто умыкнул ее.

Кто эта девушка?

Он умер от инфаркта, пышущий здоровьем Быкадоров. Вряд ли он вообще знал, где у него сердце, да и все остальное тоже: никаких изъянов, не организм, а коллекция безупречно работающих узлов и соединений. И все же он умер. По-

чему?

И почему он смотрел на картину, когда сердце отказало ему? Или сердце отказало Быкадорову, *потому что он смотрел на картину?*

Я поехала, но тотчас же заставила себя вспомнить о собственной практичности. Я не дам вовлечь себя в мистическую бойню, я буду обороняться всеми доступными мне средствами. И все же, все же... Мертвый Быкадоров был совершенен, когда я нашла его. Он, казавшийся восхитительно живым, собственноручно сопровождал меня к картине, следуя всем указателям. Он сам был указателем. И как только я обнаружила рыжеволосую девушку у батареи, его миссия была выполнена. Смерть вернулась к своим обязанностям, и тело Быкадорова стало расплываться на глазах.

Кого он ждал? Кого хотели увидеть его мертвые глаза? И почему он придвинул к двери трюмо? Не для того же, в самом деле, чтобы защититься от кого-то. Хлипкое трюмо – слишком ненадежная преграда, даже Жека легко с ним справилась...

Ненавижу этот город. Ненавижу ночные смутные мысли.

С моей холодной рассудительностью нужно переквалифицироваться в алеуты и осесть где-нибудь на Аляске.

...Жека разбудила меня в час. В руках она держала доску.

– Откуда это? – спросила она.

– Из твоей квартиры. Она лежала на стенке, вот я ее и прихватила.

– Это не моя картина.

– Понятное дело, не твоя. Стилль не тот. Слишком мрачно для такой светлой личности, как ты.

– Прекрати издеваться! Откуда эта картина?

– Не знаю. Она стояла в комнате, когда я нашла Быка... – вспомнив о клятве, я умолкла.

– Почему ты ее не отдала?!

– Не знаю, – честно призналась я.

– Потому что она похожа на тебя, да?

– Ты тоже это заметила?

– Любой бы заметил! – В блекло-голубых глазах Жеки промелькнула некрасиво состарившаяся ревность. – Является в мой дом с твоим портретом и подышает. А мне – расхлебывай.

– Жека, Жека! О чем ты говоришь? В любом случае – это не мой портрет... Доске не меньше двухсот лет. Это так, навскидку. Я думаю, даже больше.

– Правда? – Жека успокоилась и принялась рассматривать картину. Я присоединилась к ней. Несколько минут мы глядели на доску в полном молчании.

Теперь, при свете дня, портрет больше не производил мистического впечатления. Отличная работа старого мастера, только и всего. Или более поздняя стилизация под старых мастеров, но тоже отличная. Едва заметные брови девушки были удивленно приподняты, а глаза – широко распахнуты. Солнечный луч упал на картину, и в глазах девушки вдруг

мелькнул тот самый потусторонний огонь, который я уже видела в застывших глазах Быкадорова.

– Что скажешь? – тихо спросила я у Жеки.

– Знаешь, мне кажется, что это очень ценная картина. Только я к ней не подойду...

– О господи! – Я придвинулась к картине и принялась сосредоточенно изучать ее поверхность. – Меньше нужно Стивена Кинга читать. Тем более на ночь.

Никаких следов подписи; ничего, что указывало бы на авторство. Фигура девушки была скрыта белой мантией, сквозь огненно-рыжие волосы проглядывали крошечные стилизованные звезды – я насчитала их двенадцать. В правом нижнем углу картины, почти скрытый складками мантии, покоился лунный серп. Его пересекала полустертая латинская надпись: мне удалось разобрать только несколько слов: «...amica mea, et macula non...» Я развернула доску: тыльная поверхность была размашисто закрашена маслом. Толстый слой краски так потемнел от времени, что определить ее истинный цвет было невозможно.

– Что ты собираешься с ней делать? – спросила у меня Жека.

– Для началаждемся Лавруху. Он ведь у нас крупный специалист по реставрационным работам. Определим, что это за картина и кому она принадлежит. А потом видно будет.

– Ты авантюристка. – Жека завистливо вздохнула. – И

кончишь жизнь в Крестах. Учти, если твоя задница запылает, я от тебя отрекусь. Мне еще надо детей на ноги поставить... Ты ведь не хочешь ее присвоить, Катька?

– Конечно, нет. Просто...

Договорить я не успела. За окном раздался страшный грохот и чихание мотора. Это чихание я отличила бы от тысяч других: во двор торжественно въехал старенький снегиревский «Москвич».

* * *

Снегирь ввалился в квартиру с целым коробом давленной земляники и бутылью мутного самогона. От него за версту несло сухими сосновыми иголками, смолой и олифой. Русые пряди Лаврухи выгорели, а лицо приобрело кирпичный оттенок.

– Ну, как вы здесь, бедные мои сиротки? – зычно спросил он, сгребая нас в охапку.

– Отвратительно, – пропищала Жека.

– А где мальцы? Я им подарочки привез.

Снегирь, обожавший Лавруху-младшего, заваливал его подарками – глупыми и совершенно ни к чему не применимыми: керамическими свистульками (мини-козлы, произведенные все тем же Адиком Ованесовым), беличьими кистями и тюбиками с красками. Верхом изобретательности Снегиря был выточенный из дерева пистолет, который был от-

вергнут Лаврухой-младшим по причине морально устаревшей конструкции.

– У нас для тебя тоже подарочек, – сказала я Снегирю.

– Я в курсе. Ну что ж, как говорится, ничто не вечно под луной. Выпьем по этому поводу, девки!

– Подожди. Сначала ты должен посмотреть на одну вещь-цу... – Я взяла Лавруху за руку и отправилась с ним в комнату, где стояла картина.

Она произвела на Снегиря совершенно убийственное впечатление. Несколько минут Снегирь вертел головой, переводя взгляд с меня на рыжеволосую девушку.

– Что скажешь?

– Фантастика! – Снегирь шумно вздохнул и тряхнул выгоревшими волосами. – Вот и не верь после этого в переселение душ.

– Оставим портретное сходство. Что ты скажешь о картине?

Лавруха осторожно взял доску в руки и пристроился возле окна.

– Откуда она у вас? – спросил наконец он.

– Это имеет значение?

– Думаю, да. – Лавруха поцокал языком.

– *Он* ее принес. – Жека старательно избегала имени Быкадорова. – Катька нашла картину рядом с *ним*.

– А он где ее взял?

– Теперь не спросишь, – вздохнула Жека.

– А ты что о ней думаешь, искусствовед хренов? – обратился Лавруха ко мне.

– Ну, не знаю... Судя по манере письма – очень поздняя немецкая готика. Или кто-то из голландцев. Или более поздняя удачная стилизация.

– Да ты с ума сошла! – возмутилась чересчур восприимчивая к красоте Жека. – Какая стилизация? Я такого даже у Кранаха не видела... Это же настоящий шедевр...

– Слышишь, Катька! – Лавруха подмигнул мне. – Ты у нас шедевр. Выйдешь за меня замуж?

– Скотина ты, Снегирь, – надулась Жека. – Ты же мне предлагал! Еще в мае, забыл, что ли?

– Девки, я вас обеих люблю. Предлагаю жить гаремом. Тем более что евнух у нас уже есть. – Лавруха погладил Пупика, взобравшегося к нему на колени.

Я даже не успела удивиться этому (Пупик не особенно жаловал Снегиря), когда поняла, что вовсе не Лавруха интересовал моего кота: картина, вот что влекло его. Почтище валерьянки и псевдомясных шариков. Вернее, девушка, изображенная на картине. Пупик выгнул спину и потерся о доску.

– И ты туда же, ценитель! – Лавруха покачал головой и снова уставился на картину. – А в общем Жека права: это действительно шедевр.

– Я засяду за каталоги. А ты проведи спектральный анализ, – сказала я Лаврухе. – Может быть, удастся установить время написания. И потом, эта надпись... Стоит сфотографировать.

филировать картину в инфракрасных лучах. Глядишь, и автор всплывет. Ты же реставратор, Лавруха, у тебя связи.

– Ты знаешь, сколько все это будет стоить? Учти, у меня только две пары штанов...

– Я почти продала твое «Зимнее утро», – обнадежила я Лавруху.

– И кто этот сумасшедший? – Лавруха шарил глазами по картине, он вовсе не собирался с ней расставаться.

– Не сумасшедший, а сумасшедшая. Шведка из консульства.

– Что ты говоришь! Хорошенькая?

– Где ты видел хороших шведок, скажи мне на милость!

Только сейчас я вспомнила о вчерашней несостоявшейся покупке; нужно отзвониться белокурой бестии, проблеть что-то типа «sorry» и все-таки втюхать «Зимнее утро», пока не спала жара. Мы получим хоть какие-то деньги для работы над доской, а там видно будет.

Я поделилась с Лаврухой своими планами относительно картины, но тут снова вмешалась Жека:

– Лучше будет, если вы все-таки скажете о ней этому капитану... А вдруг она краденая?

В том, что она была краденной, я не сомневалась ни секунды. Покойный А. А. Гольтман дышал мне в спину. Но расстаться с картиной вот так, за здорово живешь, даже не попытавшись ничего узнать о ней, я просто не могла. И потом,

это удивительное портретное сходство... Почему рыжеволосая женщина так похожа на меня? Все эти «почему» позвякивали, как китайские колокольчики на сквозняке.

– Никто не собирается ее присваивать, Жека. Такую вещь просто нельзя присвоить. Но выяснить, что это такое, мы просто обязаны.

– Я в этом не участвую. И вообще возвращаюсь на дачу, к детям. У меня нервный стресс.

– Сделаем так, Евгения. – Наш единственный мужчина оторвался наконец от доски и взял бразды правления в свои руки. – Сейчас я отвезу тебя в Зеленогорск, потом займусь картиной.

– А я попытаюсь выцепить фрекен, – весело закончила я и повернулась к Лаврухе: – Ты не против, если мы вобьем в эту рыжую прелестницу твой гонорар?

– Ты ведь и так все уже решила, Кэт.

– Авантюристка, – снова заклеимила меня Жека.

...Проводив Жеку и Снегиря до машины, я вернулась домой и набрала номер шведки. Буря и натиск, вот что срывает в таких случаях. Плачущим голосом, который делал мой английский неотразимым, я сообщила атташе по культуре, что трагические обстоятельства помешали мне продать картину вчера, но если фрекен не возражает и все еще готова...

Фрекен не возражала. Она все еще была готова.

Мы договорились встретиться в галерее через полтора ча-

са. Умиротворяющая этим известием, я отправилась в ванную: до «Валхаллы» десять минут прогулочным шагом, и у меня есть время, чтобы смыть с себя вчерашнее и подумать о завтрашнем.

Погрузив тело в теплую воду, я закрыла глаза. Каталоги. Нужно пересмотреть все известные каталоги на предмет идентификации стиля. В том, что это кто-то из немцев или голландцев, я почти не сомневалась, но такого смелого, такого раскованного письма я не видела ни у кого. Даже тайно любимый мной Рогир ван дер Вейден⁷ остался далеко за бортом. Даже Лукас Кранах... Жека права. Это действительно шедевр. Даже в том плачевном виде, в котором он пребывает.

Я вдруг подумала о покойном коллекционере из Павловска. И о некрологе, подсмотренном мной в метро. Трагически погиб. Кажется, там была именно эта фраза. Черт возьми, можно ли считать смерть Быкадорова трагической гибелью? И почему я решила, что картина как-то связана с Гольтманом? Ведь он коллекционировал живопись барокко, а это совсем другие имена...

Я отогнала мысли о коллекционере, я спустила их в воронку вместе с уходящей водой, насухо вытерлась и спустя полчаса уже подходила к «Валхалле». Доска лежала в полиэтиленовом пакете, завернутая в наволочку: я просто не могла расстаться с картиной, это становилось похожим на тихое

⁷ Рогир ван дер Вейден (ок. 1399–1464) – нидерландский художник.

помешательство.

...Первым, кого я увидела, был капитан Марич. Я наткнулась на него возле книжного магазина «Недра», куда периодически заходила поглазеть на альбомы по живописи. И поздороваться с милой молоденькой продавщицей, которая в знак особого расположения иногда пускала меня за прилавок.

– Добрый день, Катерина Мстиславовна, – вежливо поздоровался Марич. – Опаздываете.

Только тебя здесь не хватало, подумала я и инстинктивно прижала к себе пакет с картиной.

– Сами понимаете, – хмуро сказала я. – Трудно прийти в себя после вчерашнего.

– Вам помочь? – Предупредительная лапа капитана потянулась к пакету.

– Ничего, мне не тяжело. – Я отпрянула от Марича, как от паука-сенокосца.

– Как себя чувствует ваша подруга?

– Более-менее. Она уехала к детям, в Зеленогорск. Ведь никакого уголовного дела не возбуждено, насколько я понимаю?

– Правильно понимаете. У меня к вам будет несколько вопросов.

Я насторожилась.

– Для этого не обязательно было тащиться сюда в такую жару. Могли бы известить меня повесткой.

– Я предпочитаю неформальное общение.

Конечно, ты предпочитаешь неформальное общение, никаких следов тяжелой милицейской работы на лице. При известной доле воображения тебя можно принять за какого-нибудь бизнесмена средней руки с обязательным набором из подержанного «Фольксвагена», ботинок «Саламандра» и отдыха где-нибудь в пролетарской Анталии...

Под неусыпным оком Марича я отперла двери галереи.

Для того чтобы осмотреть ее, Маричу хватило двух минут. Пока он знакомился с экспозицией, я успела сунуть пакет в ящик стола и запереть его на ключ.

– Н-да, – вынес свой вердикт Марич, меланхолично барабаня пальцами по одному из ованесовских козлов. – Не Эрмитаж.

– Вы разбираетесь в живописи?

– Нельзя сказать, что разбираюсь. Это все питерские художники, да?

Вернее, питерский художник. Лаврентий Снегирь, мастер незамысловатых пейзажей и даже не член Союза.

– Да, это все питерские художники, – надменно сказала я.

– Мне нравится Рубенс. А вам?

– Вы ведь не за этим сюда пришли, правда?

Марич сделал вид, что пропустил мое замечание мимо ушей.

– Кстати, о Рубенсе. У покойного Аркадия Аркадьевича было несколько рисунков Рубенса. Большая историческая

ценность.

– Счастливчик.

– Так вот, рисунки среди прочего похитили неделю назад, я говорил вам. Одним из похитителей, и это теперь установлено, был бывший муж вашей подруги.

Ты должна держать себя в руках, Кэт. Я опустила руку в карман платья и нащупала ключ от ящика стола. Это придало мне уверенности.

– И вы решили, что они могут всплыть в моей картинной галерее? Это просто абсурд, капитан, вы должны понимать, что художественные ценности такого уровня через никому не известную нищую галерею не продашь. Разве что где-нибудь на «Сотбисе», и то как минимум год спустя.

– Вы полагаете?

– Не держите меня за дуру.

– Да нет, – Марич тотчас же пошел на попятный. – Я не подозреваю вас...

– Слава богу.

– Тем более что почти все похищенное мы нашли. И грабителей задержали по горячим следам. Скрыться удалось только господину Быкадорову.

– Ненадолго, – я цинично выгнула губы. – Рубенс вернулся к законному владельцу?

– Да.

– Вы сказали – «почти все похищенное». – Я все-таки не удержалась, жгучее любопытство накрыло меня волной. –

Значит, было еще что-то, чего найти не удалось?

– Ну, это мелочи. Пара миниатюр и витражный проект ван Альста...⁸ Две работы без указания авторства. Задержанные сообщили, что все это осталось у покойного господина Быкадорова.

Ни слова о доске, хотя она вполне может проходить под термином «работа без указания авторства». И все же я воспрянула духом.

– Во-первых, ван Альст – это не мелочь, а весьма почитаемый живописец. И во-вторых, проще всего валить на покойника. Потрясите ваших задержанных.

– Да, может быть, вы и правы. Но дело в том, что задержанные еще не знали тогда, что господин Быкадоров умер.

– Чего вы от меня хотите, капитан?

– Я подумал...

– Знаю я, о чем вы подумали. Вы ищете связь между картинной галереей и похищением. Ее нет, Кирилл Алексеевич. Через мою картинную галерею подобные вещи реализовать невозможно. Последний раз я видела Быкадорова три года назад. И никогда не знала, чем он занимается. Надеюсь, мое незнание не будет преследоваться в уголовном порядке?

– Вот как? – Марич улыбнулся своей иезуитской, хорошо поставленной улыбкой и с треском захлопнул мышеловку. – Значит, три года назад, говорите? А ваша подруга – его бывшая жена – утверждает, что последний раз видела своего по-

⁸ Питер Кук ван Альст – нидерландский художник.

койного мужа шесть лет назад. Значит, вы встречались с ним помимо его жены?

Ни один мускул не дрогнул на моем лице, когда я ляпнула первое, что пришло мне в голову:

– Ну, встречались помимо жены – это сильно сказано. Так, увиделись случайно на трамвайной остановке. Привет-привет, вот и все.

Марич скорбно приподнял брови. Нет, я тебе не по зубам, капитан! От дальнейших расспросов меня спасла пришедшая за картиной шведка.

– Извините, у меня посетитель, Кирилл Алексеевич, – ангельским голосом сказала я. – Была бы рада вам помочь, но...

– Да, конечно, я понимаю. Всего доброго. – Униженный и оскорбленный Марич побрел к выходу, а я занялась Ингрид-Хильдой-Бригиттой-Анной-Фридой.

Я извинилась за вчерашнее и поведала ей душераздирающую историю о кончине автора «Зимнего утра». Он умер вчера, погиб в автомобильной катастрофе, «a motor car is off the road»⁹. Прости меня, Снегирь, живи сто лет, но смерть художника хороша только тем, что дает ему дополнительные козыри, смерть художника – еще одна разновидность скандала, и только она способна оживить угасший было интерес... Шведка оказалась не по-шведски впечатлительной и тотчас же отложила еще две снегиревские картины. Спустя

⁹ Автомобиль перевернулся и упал в канаву (англ.).

двадцать минут я неожиданно оказалась счастливой обладательницей полутора тысяч долларов. Этого хватит на первоначальное исследование картины.

Со времени отъезда Жеки и Снегиря в Зеленогорск прошло два с половиной часа. Даже учитывая преклонный возраст «Москвича» и время на лобзание двойняшек, можно предположить, что Лавруха объявится в Питере в ближайший час. Я хорошо знала его, он не станет задерживаться, потому что его ждет картина. Он очарован ею так же, как и я. Он не станет терять времени... Нужно возвращаться домой и спокойно дожидаться Лавруху. Я вытащила пакет с картиной из ящика стола, направилась к выходу...

И снова столкнулась с Маричем. Из галереи он так и не ушел.

Черт бы тебя побрал, дашь ты мне покой или нет?

– Ну? – Я была больше не в состоянии изображать любезность. – Что еще не слава богу?

– Я думал, вы поинтересуетесь судьбой покойного.

– Я уже поинтересовалась судьбой покойного. – Это была чистая правда: бригада, увозившая Быкадорова в морг, сообщила мне, что он будет сожжен и похоронен в городском колумбарии, если, конечно, родственники не возражают. Я не возражала и даже уточнила, куда можно внести деньги.

– А ваша подруга?

– Вряд ли она будет на похоронах.

– А вы?

– Я буду.

Уж не отправишься ли ты на похороны, чтобы убедиться, что Быкадоров ничего не унес с собой в могилу?...

– Я вот что хотел сказать, Катерина Мстиславовна. – Марич опустил глаза, и морщинка между бровями предательски дрогнула. – Может быть, мы выпьем с вами кофе где-нибудь, если вы не возражаете?

– В другой раз, Кирилл Алексеевич, – сказала я, искренне надеясь, что никакого другого раза не будет. – Сейчас начало шестого, галерея закрыта. Я больше вас не задерживаю.

Стараясь сохранять спокойствие и нести пакет как можно беспечнее, я закрыла галерею.

– Я провожу вас. – Положительно Марич никак не мог расстаться со мной.

– Не стоит. Я живу недалеко, за углом.

Я ускорила шаг, давая понять незадачливому капитану, что аудиенция закончена.

– Еще один вопрос, Катерина Мстиславовна... Это ваш натуральный цвет?

Я даже опешила.

– Какой цвет?

– Цвет волос, я имею в виду... Никогда не видел таких рыжих волос...

– Бедняжка, ничего-то вы не видели, – я не удержалась от шпильки. – Это мой натуральный цвет, капитан...

Похороны были назначены на два.

За полчаса до церемонии мы со Снегирем уже мчались по проспекту Непокоренных в сторону городского колумбария. На почти идеальной, недавно реконструированной трассе Лаврухин «Москвич» выжимал восемьдесят.

– Н-да, – глубокомысленно заметил Лавруха, переключая скорости. – О времена, о нравы! Единственная приличная дорога в городе, и та – в крематорий.

Вчера, вернувшись из Зеленогорска, он ухватился за картину и больше с ней не расставался. Он обзвонил нескольких своих приятелей, серьезно занимавшихся реставрацией, и договорился об экспертизе. Вечер прошел без происшествий, если не считать демарша Пупика, который наотрез отказался расставаться с доской. Кот ходил вокруг картины кругами, пытался потереться об нее и лишний раз лизнуть поверхность.

– Изменник! – прикрикнула я на Пупика.

– Ничего не поделаешь, ваши отношения никогда не были гладкими. – Некоторое количество самогона, влитого в глотку, сделало Лавруху философичным. – Ты ведь тоже многое себе позволяла...

– Лавруха!

– Я только хотел сказать, что и коты имеют право на

адюльтер.

– Ценная мысль... Сколько займет экспертиза, ты как думаешь?

– Первоначальная – несколько дней от силы. Что ты собираешься предпринимать, Кэт? Не выставишь же ты ее в «Валхалле» в самом деле?

Снегиревский пассаж о галерее заставил меня вспомнить визит Марича. Я рассказала о Мариче Лаврухе, и это привело его в мрачное расположение духа.

– Не нравится мне, что он возле нас крутится.

– Ничего удивительного, – я даже не знала, кого хочу убедить больше: Лавруху или саму себя. – Он просто расследует обстоятельства дела, только и всего.

– Вот именно. Только *какого* дела?

– О смерти...

– Но ты же сама сказала, что со смертью как раз все ясно: безвременная кончина, обширный инфаркт. Что-то здесь не то.

Я и сама знала, что не то... И потом – фраза Марича о нескольких работах, авторство которых не установлено. И его замечание насчет моих рыжих волос... Гольтман был крупным коллекционером, значит, не следует исключать того, что его коллекция описана и снабжена каталогом. И если доска действительно принадлежала Аркадию Аркадьевичу, то сохранилось и ее описание. И, возможно, фотография. Марич мог видеть эту фотографию, а мое сходство с напи-

санной девушкой просто неприлично... Засветив картину, мы с Лаврухой обязательно подставимся и, взявшись за руки, сразу же вольемся в ряды соучастников грабежа.

– А может, ты ему просто понравилась как женщина? – высказал осторожное предположение Лавруха.

– Не смей меня, Лаврентий!

– Отчего же? Ты еще о-го-го, рыжая-бесстыжая...

– Оставим мои прелести в покое.

– Слушай, а может, Жека права? Ну ее, эту картину... Отдадим ее в надежные руки родной милиции.

Я посмотрела на Лавруху так, как будто видела его впервые.

– Сейчас это невозможно. Ну как ты представляешь себе сцену передачи? «Извините, товарищ капитан, рядом с телом была картина, но я как-то совсем о ней забыла. А теперь случайно вспомнила... Горю желанием передать ее правосудию...»

– Почему бы и нет?

– Я не могу, – честно призналась я и наклонилась к Снегирю. – Ты ведь и сам не можешь, правда? Не так часто в руки простых смертных попадают загадочные вещи подобного уровня... И вдруг нам удастся установить авторство...

– Давай рассуждать здраво, Кэт. Если эта картина принадлежала крутому мэну из Павловска, он наверняка тоже занимался ее экспертизой...

– Еще не факт. А вдруг это подлинник? Ты представляешь

себе, сколько он может стоять?..

– Тогда это просто хищение в особо крупных размерах...

Ты будешь великолепно смотреться в зале суда.

– Короче, Лавруха... – Нытье Снегиря стало утомлять меня. – Ты со мной или нет?

– С тобой. – Снегирь вздохнул. – Жека права: ты авантюристка.

Больше к вопросу о законности наших действий мы не возвращались. По дороге в крематорий Лавруха сказал мне, что картина благополучно отдана на экспертизу, в надежные руки Вани Бергмана, закадычного снегиревского дружка. Бергман проводил исследования нескольких картин для Эрмитажа и слыл крупным специалистом в области реставрации.

...Церемония прощания с Быкадоровым прошла скромно. Кроме меня и Лаврухи, в зале оказался лишь представитель социальной службы – совсем не густо для такой феерической личности, как Быкадоров. Я подумала о его теле, которое так хорошо знала и которое лижут сейчас языки равнодушного пламени – ничего себе последнее объятие... На секунду мне стало муторно, и я оперлась о руку Снегиря.

– Здравствуйте, – услышала я за своей спиной тихий голос.

Ну конечно же, Марич, что-то давно его не было!

– Вы не даете мне соскучиться по вас, капитан, – сквозь зубы процедила я. – Хотя бы сегодня могли оставить меня

в покое.

– Долг службы, – и здесь вывернулся Марич. – Вы не представили меня своему спутнику.

– Лаврентий Снегирь, – с достоинством произнес Лавруха. – Художник.

– Вот как? А ваша очаровательная спутница вчера вас похоронила, – тотчас же сдал меня капитан: очевидно, он подслушал мой трогательный спич перед шведкой в галерее. Что ж, хотя бы английский он знает. Очко в пользу Кирилла Алексеевича.

– Что вы говорите? – Лавруха нежно погладил меня по щеке.

– Пришлось, – покаялась я. – Ты же знаешь, как любят художников после их смерти. Иначе я не сбагрила бы ей три картины.

– Она у нас большая затейница, – в голосе Снегиря послышалось одобрение.

– Я вижу... Не очень-то вы разборчивы в средствах, Катерина Мстиславовна.

Что есть, то есть, капитан. Но это вполне укладывается в вашу схему. Я уже заклеяна как мелкая прохиндейка и мошенница...

Спустя час урна с прахом Быкадорова была установлена в крошечном отсеке, и мы, в молчании постояв возле нее несколько минут, направились к выходу.

– Вы не подбросите меня до центра? – спросил Марич, не

отстававший от нас ни на шаг.

– С удовольствием. – Лавруха, в отличие от меня, был сама любезность. – Вам в какое место?

– На Литейный.

– На Литейный, четыре? – уточнил Лавруха.

– Да, если можно.

На Литейном, четыре, располагалось главное управление ФСБ. Кроткий агнец капитан Марич оказался серьезным человеком. Гораздо более серьезным, чем могло показаться на первый взгляд. Но на это обстоятельство мне было совершенно наплевать. Сейчас мне было наплевать на все, кроме картины. Угнездившись в машине, я демонстративно врубила магнитола. В динамиках сразу же заворочался последний хит Лаврухиной любимицы Алсу, и капитан поморщился: похоже, он не любил попс, даже высококласный.

...На прощание Марич поцеловал мне руку.

– Хотелось бы подольше не видеть вас, капитан, – сказала я.

– Боюсь, мы еще встретимся, и не раз, – с достоинством парировал Кирилл Алексеевич. – Интуиция никогда еще меня не подводила...

– Тогда передавайте ей привет.

Мы остались одни. Лавруха подогнал «москвичок» к тротуару, включил аварийку и нервно закурил.

– Интересно, как и когда тебя угораздило так ему не понравиться? – спросил Лавруха.

– У нас было некоторое количество времени... А в общем, я и сама ума не приложу. Ты думаешь, это может как-то на нас отразиться?

– Я, конечно, не господь бог и даже не искусствовед, но одно я знаю точно: вокруг больших полотен всегда идет большая игра. Особенно если они не находятся под защитой государства.

– Ты решил соскочить?

– Я уже ввязался...

– Я смотрю, ты этому совсем не рад.

– Кэт, – Лавруха обернулся ко мне и коснулся пальцами подбородка. – Скажи, ты все мне рассказала, Кэт?

Конечно же, я не все рассказала Снегирю. Подробности первого свидания с картиной я благоразумно опустила: взгляд Быкадорова, устремленный на картину, его абсолютно обнаженное тело, трюмо, придвинутое к двери... Китайские колокольчики вопросов снова зазвенели в моей изнывающей от жары голове.

– Абсолютно все. Ты знаешь ровно столько, сколько и я.

– Ну хорошо. Сейчас я двину к Ваньке, может быть, что-то уже прояснилось.

Неожиданно меня обдало холодом. А вдруг законопослушный Бергман поднимет тревогу и переполошит всю культурную столицу?..

– Ты можешь на него положиться, Лавруха?

– На кого?

– На Ивана. Он никому не расскажет о картине?

– Я взял с него слово, – успокоил меня Лавруха. – И потом, он же мой лучший друг, почти брат. Молочный.

– Интересно, что ты ему наплел?

– Сказал, что прикупил ее у старухи в Опочке. За смешные деньги. – В изворотливости Снегирь мог посоревноваться со мной. – Видишь, для только что погибшего в автомобильной катастрофе я довольно изобретателен.

Это был камень в мой огород: Лавруха запомнил реплику Марича о моей домашней заготовке для шведки.

– Будешь жить сто лет, – беспечно сказала я. – Я сейчас в Эрмитаж, к Динке. Просмотрю кое-что. Буду дома к девяти. Если что-нибудь прояснится – подъезжай прямо ко мне.

Динка Козлова, моя однокурсница по академии, удачно пристроилась в отделе фламандской живописи и имела доступ к эрмитажным фондам. Именно в них я надеялась разжиться информацией о голландцах и немцах: я до сих пор пребывала в твердой уверенности, что неизвестный автор доски был или немцем, или голландцем.

– Нужно было бы сфотографировать картину. Для сравнительного анализа, – пояснил Снегирь.

– Зачем? – искренне удивилась я. – Я и так ее помню. До последнего мазка.

Это была чистая правда: картина уже жила во мне, в любой момент я могла вызвать в памяти каждое движение кисти неизвестного мне художника, каждый изгиб мантии де-

вушки, каждую звезду в ее рыжих волосах.

– Ну конечно. – Снегирь улыбнулся. – В молодые годы ты проводила слишком много времени перед зеркалом.

– Теперь мне двадцать девять, и я кардинально изменила поведение, – утешила я Снегиря.

– Как ты думаешь, почему она так похожа на тебя?

– Ты же сам сказал о переселении душ. Так что я в отношении этой картины обладаю правом первой ночи.

– Не увлекайся, Кэт, – напутствовал меня Лавруха. – Чует мое сердце, что мы с чертовой доской еще хлебнем.

Почему я не прислушалась тогда к пророческим словам Снегиря?..

Динка встретила меня причитаниями. В основном они касались аномальной для Питера жары: мама с гипертоническим кризом, папа с ишемической болезнью, отпуск не раньше ноября, да еще муж, похоже, бежит на сторону и столуется у какой-то жлобки-буфетчицы с Адмиралтейских верфей. Терпеливо выслушав Динку, я приступила к изложению своей просьбы:

– Я могу посмотреть материалы на кое-каких голландцев? Приблизительно шестнадцатый-восемнадцатый век?

– Ты же занимаешься прерафаэлитами. – Динка отличалась профессиональной искусствоведческой памятью.

– Именно поэтому! Не читала новых исследований о влиянии Жана Белльгамба¹⁰ и его последователей на «Братство

¹⁰ Жан Белльгамб (1470–1534) – нидерландский художник.

праерафаэлитов»? – тут же слепила горбатого я. Мне совсем не улыбалось посвящать в свои последние перипетии кого бы то ни было.

Заручившись согласием Динки, я приступила к изучению всех доступных мне материалов.

Эрмитажная коллекция голландцев не была особенно обширной, иначе я просто утонула бы в потоке информации. И все равно, к ночи у меня уже кружилась голова от обилия имен или подобия имен – Мастер женских полуфигур, Мастер легенды о святой Марии Магдалине, Брауншвейгский монограммист... Исследователям не откажешь в логике – чего проще: собрать похожие по манере письма картины и объединить их именем неизвестного автора. Интересно, как назовут художника, если авторство так и не будет установлено? Мастер видения святой Екатерины? Или Мастер скорбного финала святого Себастьяна?.. Я перерыла шестнадцатый век и перешла к семнадцатому – но ничего хотя бы приблизительно похожего так и не обнаружила. Я утешала себя тем, что анализ картины даст нам возможность хотя бы приблизительно установить время ее написания. И тогда поле поиска максимально сузится.

В любом случае остается надеяться только на Лавруху.

Но вечером Лавруха так и не объявился. Я слонялась по дому, меланхолично пробовала читать, просмотрела пару дурацких детективных сериалов по телевизору: сериальных убийц я угадывала с лету, капитан Марич вполне мог бы за-

числить меня на довольствие.

– Давай, звони, скотина! – заклинала я молчащий телефон.

И Лавруха откликнулся.

Он позвонил в половине второго и долго сопел в трубку.

– Ну? – спросила я.

– Ты сидишь? – хрипло пробубнил Лавруха.

– А что?

– Если стоишь, то сядь. Мы провели предварительную экспертизу. Пятнадцатый век. Этой картине цены нет.

Ну конечно же, я знала, я чувствовала, я не могла ошибиться!..

– Бери тачку и приезжай. Немедленно. В реставрационные мастерские, к Ваньке. Тут тебя такое ждет...

– Не мог раньше позвонить? – Я сразу же возненавидела Снегиря. – До мостов пятнадцать минут...

– Пулей из дому! Еще успеешь... Говорил же тебе, меняя свой Васильевский остров на проспект Ветеранов! Или улицу инженера Графтио.

Не дослушав Лавруху, я бросила трубку, втиснулась в джинсы и выскочила из дому.

* * *

Я уложилась в сроки и добралась до Бергмана за десять минут. Всего и нужно было, что перемахнуть мост лейтенан-

та Шмидта, проехать площадь Труда и повернуть на Декабристов. Снегирь ждал меня у дверей реставрационных мастерских.

– Давай колись! – крикнула я ему, едва отпустив машину.

– Не сейчас. Все будет происходить в торжественной обстановке. Сейчас сходим за шампанским, и я представлю вас друг другу.

– Кого?

– Тебя и картину.

Всю дорогу до ближайшего магазинчика «24 часа» и обратно Снегирь хранил молчание. Я видела, чего это ему стоило. Лицо Лаврухи ходило ходуном, щеки вздувались, а рот постоянно растягивался в улыбке. Я начала бояться – как бы Лавруху не разнесло изнутри.

– Если ты не освободишься от тайны в ближайшие пять минут, тебя хватит апоплексический удар, – припугнула я Снегиря.

– Уже хватил, – признался Лавруха. – Как только Ванька снял ее в инфракрасном излучении и мы сделали спектральный анализ.

– Так быстро? – удивилась я.

– Они получили новое оборудование, американское... Компьютерная обработка данных. Ладно, все это неважно. Важно то, что ты умница, Кэт!

...Я знала Ваньку Бергмана много лет, но еще никогда не видела его в таком возбужденном состоянии. Его изящ-

ная, построенная по всем правилам золотого сечения лысина то и дело покрывалась испариной, а по вискам струился пот. Ванька сидел на стремянке возле стены, заставленной стеллажами со специальной литературой, и рылся в каком-то журнале.

А на отдельном мольберте у окна, под огромным увеличительным стеклом, стояла картина.

– А вот и мы, – сказал Снегирь и выстрелил в потолок пробкой от шампанского.

– Я нашел. – Бергман обвел нас невидящим взглядом. – Кое-что о нем. Последняя статья в «Вестнике Британской Академии».

– О ком? – Я уставилась на Бергмана.

– Об авторе, – ответил за Ваньку Снегирь.

– Вы установили авторство?

– С очень большой долей вероятности. Девяносто девять и девять десятых процента. Сама все увидишь.

Снегирь проворно разлил шампанское по глиняным кружкам.

– Похожа на модель? – спросил он у Бергмана.

– Кто? – Бергман близоруко сощурился.

– Да Катька же! Удивительное сходство... Ну, друзья мои, за лучший день в нашей жизни.

Снегирь подошел к мольберту и чокнулся с увеличительным стеклом. Затем принялся раскладывать снимки на полу.

– Итак... – Голос Снегирия был таким торжественным, что

я невольно вздрогнула. – Рубеж веков, что-то около 1498–1499 года.

– Пятнадцатый век, – прошептала я.

– Пятнадцатый век, Нидерланды. Полный текст надписи под изображением, – Снегирь ткнул в одну из фотографий: – «Tota pulchra es, amica mea, et macula non est in te».

– «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе», – гулким, полуобморочным эхом отозвался Бергман.

– Именно. Надпись иногда сопутствует Деве Марии, в ипостаси так называемой «Жены Апокалипсиса». Так же, как и луна, двенадцать звезд, белая мантия и голубой плащ.

Нет, ничто больше не может удержать меня. Я подошла к картине и благоговейно коснулась ее края, с трудом подавляя желание упасть на колени. Я бы и упала, если бы Снегирь не поддержал меня. Его прерывистое дыхание обдало жаром мой несчастный, промокший от волнения затылок.

– Обрати внимание на застежку мантии, Кэт.

– А что?

Снегирь подхватил меня под руку и поволок к компьютеру, быстро пробежался по кнопкам.

– Мы сканировали детали. Сейчас ты поймешь...

Снегирь дал максимальное увеличение, и на экране монитора зависла застежка. Что-то отдаленно напоминающее ракушку.

– Ну?! – Снегирь торжествовал. – Знаешь, что это?

– Похоже на ракушку.

– Да, сразу видно, что ты не специалист по моллюскам.

Это устрица.

– Устрица?

– Ну! Соображай быстрее! Чему-то же тебя учили на искусствоведческом факультете...

Смутная догадка пронзила меня. Единственная лекция на четвертом курсе, искусствовед из Амстердама с высохшим лицом средневекового мистика...

– Ты хочешь сказать, что это Лукас ван Остреа? – тихо спросила я.

– Да! – Лавруха швырнул кружку с остатками шампанского об пол, и она разлетелась на мелкие куски. – Да, черт возьми! Да, да, да! Именно это я хочу сказать. Лукас ван Остреа. Лукас Устрица! Это его знак...

Ноги отказались мне служить, и я села на пол рядом с осколками кружки.

– А теперь послушаем нашего уважаемого Ивана Теодоровича с его последними сведениями о Лукасе ван Остреа. – Снегирь пристроился на полу рядом со мной.

Бергман осторожно кашлянул в сухую, похожую на лапку ящерицы ладонь.

– Сначала общие сведения, – начал он. – Лукас ван Остреа, по прозвищу Лукас Устрица. Год рождения приблизительно 1466-й, год смерти неизвестен. Одна из самых загадочных и мистических личностей в истории искусств. До настоящего времени дошли всего лишь три его работы...

– Четыре! – не выдержал Снегирь.

– ...До настоящего времени дошли три его работы. Одна хранится в Лувре, другая в музее Прадо в Мадриде. Еще одна – в Голландии, в так называемом Мертвом Городе Остреа. Страховка луврского Остреа, «Hortus conclusus» – «Запертый сад» – колеблется в пределах от пяти до пяти с половиной миллионов долларов. Это, конечно, рыночная цена. Я не говорю о реальной ее стоимости.

Я крепко сжала пальцы Снегиря.

– Сведений о нем мало, в основном это легенды с не очень хорошим подтекстом. Современники считали его семенем дьявола.

– Семенем дьявола? – Я втянула голову в плечи, вспомнив огонь в глазах мертвого Быкадорова.

– Он был чрезвычайно плодовит, некоторое время работал в Брюгге, Генте и Антверпене, но нигде долго не задерживался. Ему сопутствовали скандалы, многие его заказчики, становившиеся потом владельцами картин, умирали при невыясненных обстоятельствах сразу же после написания.

– Насильственной смертью? – спросил Лавруха.

– В том-то и дело, что нет...

Смерть Быкадорова никак не назовешь насильственной, обширный инфаркт, очень респектабельно... Я с трудом заставила себя не думать об этом. Конец двадцатого века, разнузданный материализм, ты должна трезво смотреть на вещи, Кэт!..

– Смерть не была насильственной, хотя очевидцы утверждали, что картины как будто выкачивали соки из окружающего мира. – Бергман раздул ноздри. – Его изображения были более живыми, чем сама жизнь. Даже недоброжелатели Устрицы не могли не признать, что его полотна божественно хороши. У него было еще одно прозвище – «пробный камень антихриста».

Возможно, так его стали называть позднее.

– Ничего себе!

– Ты сказал, что он был очень плодовит. – Снегирь отхлебнул шампанское прямо из горлышка. – Тогда почему до нас дошло только несколько картин?

– Большая их часть уничтожена еще при жизни Лукаса Устрицы. Или сразу после его смерти. Несколько свихнувшихся бюргеров взяли на себя миссию возмездия. В «Хрониках города Гента» указана пара-тройка имен. Якоб де Фас, стрелок Питер и некий Хендрик Артенсен. Последний был из Мертвого Города Остреа – единственный оставшийся в живых после наводнения 1499 года...

– А сам Устрица?

– О его смерти ничего не известно. Предполагают, что он тоже погиб во время наводнения. Во всяком случае, после 1499 года его никто не видел.

– Сколько она может стоить? – спросила я.

– Не знаю... Во всяком случае, по размерам доска больше, чем «Запертый сад», и находится в довольно приличном

состоянии...

– Но это еще не все, Кэт. – Снегирь крепко сжал мои плечи. – Самое интересное мы приберегли на десерт.

– Думаю, ты уже ничем не можешь меня удивить. – От обилия информации голова моя шла кругом, а тело приобрело пугающую легкость.

– И напрасно. Дело в том, что это не картина.

– Не картина?

– Вернее, не совсем картина. Судя по всему, *это внешняя створка триптиха*, Кэт.

– Внешняя створка триптиха?

– Идем, я покажу тебе ее обратную сторону. Ваньке пришла светлая мысль сфотографировать ее в инфракрасных лучах. Под несколькими слоями масла существует еще одно изображение.

Я прижала руки к щекам, и сердце мое бешено заколотилось.

– И вы собираетесь его раскрыть?

– А как ты думаешь? Конечно, собираемся. Сделаем компрессик, снимем более поздние наслоения, вот и все... Не бойся, ты имеешь дело с лучшими реставраторами этого города.

– Нет! – это вырвалось помимо моей воли: я снова вспомнила прикрытые веки Быкадорова, за которыми бушевал ад.

– Что-то я тебя не узнаю. Ты же ведь была инициатором и идейным вдохновителем. Теперь поздно что-либо менять.

Мы просто обязаны это сделать. Открыть новую вещь Лукаса ван Остреа – такой шанс выпадает раз в жизни!

– Ну хорошо, – я сдалась. – Допустим. Допустим, вы проводите все на высшем уровне. Что потом?

– Мы должны будем обнародовать это, – веско сказал Бергман. – Невозможно долго скрывать такую ценность.

Снегирь нахмурился: похоже, по гладкой и благостной поверхности реставрационного коллектива пошли первые трещины разногласий.

– Полегче, Ванюша. Ты забываешь, что картина принадлежит мне. – Снегирь вовсю раскручивал миф о покупке картины у ветхой старушки из Опочки.

– И что ты собираешься с ней делать?

– Что хочу, то и сделаю, – неожиданно окрысился Снегирь. – Могу с маслом съесть, могу господину Пиотровскому подарить на день ангела. А могу и на аукцион выставить.

– Ты не понимаешь, Лаврентий. – Ванька наконец-то слез со стремянки и нервно заходил по мастерской. – Это же национальное достояние...

– Значит, я являюсь владельцем национального достояния. Только и всего.

– Нет... Я тебе не позволю...

Снегирь со злобой уставился на Ваньку.

– Интересно, каким же это образом ты можешь мне не позволить? Разве забыл, что у нас частная собственность охраняется государством?

– Эта картина не может...

– Ах, не может!

С неожиданной для его грузного тела ловкостью Снегирь накинулся на тщедушного Ваньку, и спустя секунду они уже катались по полу. Я с ужасом взирала на беспричинную и беспощадную мальчишескую драку двух тридцатилетних лбов. Снегирь наседал, но и Ванька оказывал ему достойное сопротивление. И все-таки силы были неравны. Через несколько минут огрубевшие пальцы Снегирия сомкнулись на бергмановском кадыке, и Ванька отчаянно захрипел.

Мне с трудом удалось оттащить Лавруху – и то после того, как я обдала его остатками шампанского. Руки Снегирия разжались, и он всей тушей рухнул на пол. Ванька же, скуля, отполз в дальний угол и затих.

– Черт, что это было? – замычал Снегирь. – Я тебя чуть не убил... Помутнение какое-то.

– Ничего себе помутнение, – сглотнул Ванька.

– Ничего не могу понять... Мальчики кровавые в глазах. – Лавруха все еще не мог прийти в себя.

Я обернулась на картину. И снова мне показалось, что ресницы рыжеволосой Девы Марии дрогнули. Или это была просто игра света?

– Ладно. – Я попыталась примирить дураков-реставраторов. – Будем считать инцидент исчерпанным и отнесем его на счет нервного потрясения. Не каждый день к нам в руки такие полотна плывут.

– Вот именно... Прости меня, Ванька.

– Я не сержусь. – Щуплый Бергман всегда обладал кротостью матери Терезы. И всех более ранних святых, вместе взятых.

– Идиоты. Вот так посмотришь на вас и уверишься в «пробном камне антихриста». Должно быть, эта картина действительно как-то влияет на людей...

– Скажешь тоже! – Снегирь поморщился и снова воззрился на Ваньку. – Поможешь мне снять слои?

– Конечно. – Бергман почти успокоился и снова водрузил очки на нос.

– Отлично. Ты, Кэт, можешь отправляться спать. А мы тебе завтра позвоним.

– Ну уж дудки, – возмутилась я. – Во-первых, я тоже хочу присутствовать при этом историческом событии. И, во-вторых, должен же кто-то за вами присматривать, иначе вы друг другу кадыки повырываете.

Мое предложение было воспринято благосклонно.

– И когда вы собираетесь начать? – спросила я.

– Прямо сейчас и начнем. – Видно было, что Лаврухе не терпится приступить к работе. – Ты пока можешь подняться наверх, поспать часок. Все равно ничего интересного сейчас не будет. Пока аэфтэшкой покроем, пока компресс, пока слой размягчится, пока краска набухнет...

– И всего лишь часок? – недоверчиво спросила я.

– У Ваньки смывка новая, презент коллег из галереи Уф-

фици. Так что спи спокойно, дорогой товарищ. На заключительную часть драмы мы тебя позовем. Сама понимаешь, ре-ставрация – процесс интимный. «Камасутра» отдыхает.

Им все-таки удалось уломать меня. Им хотелось обладать картиной безраздельно и без свидетелей, так, как обладают женщиной. Это было очень по-мужски, и я не стала спорить. Я уважала чужие чувства.

Прихватив «Вестник Британской Академии», заложенный на странице со статьей о Лукасе ван Остреа, я отправилась наверх, на второй этаж мастерской, в крошечную монашескую келью Ваньки. Забравшись с ногами на кушетку, я открыла статью с пророческим названием «Deadly kiss»¹¹.

Выглядит слишком уж романтично для такого консервативного издания. Фамилия автора не очень-то смахивала на английскую, некий Ламберт-Херри Якобс. Я перевернула несколько страниц и заглянула в комментарии: Ламберт-Херри оказался довольно молодым человеком и – по совместительству – директором музея Мертвого Города Остреа.

С фотографии на меня взирала типичная голландская, кисло-интеллигентская морда: круглые очочки и такой же круглый подбородок. «Deadly kiss» оказался слишком сложным для моего бытового английского; хорошо еще, что полиглот Ванька успел сделать подстрочник тех абзацев, которые непосредственно касались биографии художника. Странная

¹¹ Смертельный поцелуй (англ.).

статья, смесь панегирика, эссе и теософского трактата, сразу видно, что достопочтенный Ламберт-Херри серьезно болен Лукасом Устрицей. Интересно будет посмотреть, как вытянется его лицо, когда он узнает о существовании четвертой работы...

И узнает ли он об этом когда-нибудь?

Я вытянулась на жестком бергмановском ложе. Что-то внутри мешало мне полностью насладиться триумфом первооткрывателя – как будто я стояла на хрупком льду и под моими ногами неслышно ворочалась бездна. Нет, это не связано с «пробным камнем дьявола», я всегда была кондовой реалисткой. Чертов Марич маячил за моей спиной, вот кто. Пока не будет окончательно выяснено происхождение картины, я не успокоюсь. Ведь не могла же она быть фамильной ценностью фартового вора Быкадорова, в самом деле!.. Я вдруг подумала о том, что Снегирь прав, – если все сложится удачно и звезды встанут именно так, как они стоят сейчас в рыжих волосах Девы Марии, доску можно выставить на аукцион.

Почему бы и нет?

Наверняка найдутся ценители, особенно если снабдить картину соответствующим пресс-релизом. А это не одна сотня тысяч долларов. С нищетой будет покончено навсегда, я смогу поднять галерею, скупить на корню лучших художников, выйти на международный уровень и крупно играть. Играть – вот чего я хотела больше всего. Играть и выигрывать.

И потом, мы так похожи с моделью Лукаса, это еще больше увеличит мои шансы.

Интересно, нет ли у меня родственников в Голландии?..

Ни тетка, после смерти которой мне досталась квартира на Васильевском, ни мама, до сих пор живущая в Самарканде, ничего мне об этом не говорили. И про своего отца я слышала только байки: он утонул в арыке через полгода после моего рождения. А вдруг он был голландцем и его всегда тянуло к устрицам?.. Устрицы в арыке – неплохой сюжет...

Мне расхотелось оставаться одной наверху, и я решила спуститься в мастерскую.

...Лавруха, скрестив руки, стоял у стола, на котором теперь лежала картина. Ванька аккуратно проглаживал компресс утюгом. Когда процедура была закончена, он счистил взбухшую краску шпателем и снова наложил компресс.

– Ну, что? – шепотом спросила я у Снегиря.

– Третий слой... Совсем немного осталось, потерпи.

Манипуляции с компрессами и шпателем длились бесконечно. Пальцы Ваньки крупно дрожали. Я, не отрываясь, смотрела на прямоугольник доски: теперь он уже не был таким беспросветно глухим. Под тонкой пленкой, отделяющей нас от пятнадцатого века, уже просматривались смутные контуры фигур. Отложив шпатель, Ванька вооружился марлевым тампоном и аккуратно выбрал остатки самой поздней по времени масляной покраски.

Все.

В час быка мы выпустили демонов наружу, еще не подзревая, что они – демоны...

Последний слой был снят, и освобожденная из плена столетий картина предстала перед нами, сверкая и переливаясь девственными, казалось, только что наложенными красками. В жизни я не видела ничего прекрасней и яростней.

Четыре фигуры на лошадях, темное пламя ада внизу, раздавленные тени под копытами. От тишины, стоявшей в мастерской, у меня лопались барабанные перепонки.

– Что это? – спросила я.

– Похоже на всадников Апокалипсиса, – судорожно сглотнул Ванька. – Бог ты мой, он действительно великий художник...

От картины шло странное тепло – или все дело в лампах, которыми она была окружена? Я не могла избавиться от мысли, что картина дышит и ноздри лошадей вибрируют.

– Мать твою, они же сейчас нас растопчут... – Лавруха ухватился за меня.

Они действительно хотели нас растоптать, они сделали бы это немедленно, если бы клетка картины не останавливала их. В глазах всадников, в глазах их коней, в их развевающихся гривах было столько божественного гнева, что я невольно отступила.

– Победоносный на белом коне. Война на рыжем коне. Голод на вороном коне. Смерть на бледном коне. И Ад следует за ним... – голос Ваньки звучал в ледяной пустоте.

Мне показалось, что бледный конь смерти повернул голову – и в его зрачке блеснула устрица.

Знак Лукаса ван Остреа.

Картина втягивала нас как воронка, я не знаю даже, сколько мы простояли над ней. Детали изображения змеями переползали в нас, чтобы навсегда там остаться. Первым очнулся Снегирь.

– Пойду за водкой... – пролепетал он.

– Я с тобой, – тотчас же присоединилась к нему я.

...Уже в подворотне нас догнал Ванька.

– Решил составить вам компанию, – пряча глаза, сказал он.

Лавруха остановился, задрал подбородок к ясному, уже налитому зноем небу и расхохотался.

– Испугался, да? Боишься остаться с ними наедине? Признайся, Иван Теодорович!

– Не испугался... Но все равно как-то не по себе... – Ванька поскреб затылок.

– Вот что... – Я видела их насквозь: и Ваньку, и Снегиря. – Давайте уж будем откровенными до конца. Ты ведь тоже чувствуешь себя не в своей тарелке, Снегирь. Иначе бы не побежал за водкой. Верно?

– Ну, допустим, за водкой я готов бежать всегда... А в общем, ты права, Кэт. Как-то муторно, вдруг о душе стал думать... А я, между прочим, даже некрещеный... И склонен к материалистическому взгляду на мир. Не нравится мне все

это.

– Ладно. Остановимся на том, что мы, три взрослых человека, испугались и сбежали.

Где-то вдалеке, за домами, раздались глухие раскаты грома. Впечатлительный Ванька вздрогнул, а совсем не впечатлительный Снегирь коротко хохотнул.

– Как вы думаете, что это может быть? – спросила я.

– Всадники Апокалипсиса стучат в нашу избушку и вопят: «Отдай мое сердце!» – Лавруха, по правилам давно забытой детской игры, ухватился за меня. Я вскрикнула от неожиданности.

– Не надо так шутить, Лаврентий, – тихо сказал Ванька. – Картины живут своей жизнью, о которой мы ничего не знаем. И еще неизвестно, что у них на уме.

Ванька и Снегирь напились. Тут же, в мастерской, под испепеляющими взглядами всадников. Не пила только я. Я просто не могла пить, находясь рядом с бешеными тысячами долларов. Ясно, что долго хранить в тайне «Всадников Апокалипсиса» не удастся: слишком велика их ценность. Да и капитан Марич совсем не зря ходит вокруг меня кругами. Тут же, под богатырский храп Снегирия и тонкое посапывание Ваньки, я принялась набрасывать план действий на ближайшие несколько дней. Спустя час он был сформирован и в окончательном виде выглядел следующим образом:

1. Уточнить, не являлась ли картина чьей-либо собственностью до того, как она оказалась у Быкадорова.

2. Если в ближайшее время никто не предъявит прав на картину, необходимо заняться ее предпродажной подготовкой.

Насчет продажи картины у меня были свои, далеко идущие планы. В начале сентября в городе должен состояться крупный аукцион, и «Всадники Апокалипсиса» могут стать самым запоминающимся лотом, самым ярким бриллиантом в короне.

Далее следовали пункты об экспертной оценке картины и определении ее рыночной стоимости. Последний же пункт выглядел совсем уж романтически-неприлично:

МЫ БОГАТЫ.

Я нисколько не стыдилась его, ведь это означало процветание галереи, покупки дорогих картин, Итон или Кембридж для крестников-двойняшек и торжественный ресторанный обед с Лаврухой и Жекой где-нибудь недалеко от Елисейских полей.

Я обязательно закажу себе бадью устриц.

И прощай, полунищее существование, дешевое белье, купленное у хитроглазых осетинок на рынке. Прощайте, долги по аренде галереи и польская косметика. Прощай, шаурма из собачатины, и здравствуй, бадья с устрицами!

Но до бадьи устриц было еще слишком далеко: мой план мог полететь под откос, подорвавшись на первом пункте.

А если картина действительно принадлежит племяншук-наследнику покойного Аркадия Аркадьевича? Я мысленно по-

казала ему средний палец и задумалась. Решение, к которому подталкивала меня моя авантюрная и беспринципная половина, выглядело на редкость простым и кощунственным: ведь я имела на руках не одну картину, а две! Даже если рыжая бестия принадлежит Гольтманам, то никто и слыхом не слыхивал о «Всадниках Апокалипсиса». Следовательно, и продавать можно только всадников. А себя, любимую, рыжую и прекрасную, можно замазать маслом.

От такого святотатства у меня даже зашевелились волосы на голове. Нет, по зрелому размышлению, я на это не способна. Ни по этическим, ни по эстетическим соображениям. Рано или поздно Дева Мария всплывет, поскольку вечная жизнь ей гарантирована самим богом. И тогда скандала не избежать. Со мной просто никто не станет иметь дела. Никто, не говоря уже о серьезных заказчиках. Нужно оставить все как есть и отправляться на охоту за головами гипотетических владельцев картины.

Рубикон должен быть перейден.

* * *

Вот уже час я сидела в маленьком уличном бистро напротив дома Гольтмана. На мне был строгий деловой костюм (одолженный у Жеки), а переносицу украшали очки (взятые напрокат у Ваньки Бергмана). Все это должно было придать мне чопорный вид, который так располагает к себе владель-

цев крупных коллекций, пугливых, как енотовидные собаки.

Стратегия и тактика была выработана в стареньком «Москвиче» Лаврухи. Он нашел мою идею культпохода к наследнику Гольтмана далеко не блестящей, но смирился с ней, как с неизбежным злом. Последние три дня мы осторожно прощупывали всех серьезных коллекционеров – и все они оказались счастливо непричастными к «amica mea».

Последний рывок – и путь к обладанию картиной будет открыт. Или мы свалимся в пропасть.

– Ну, как я выгляжу? – спросила я у Лаврухи и спустила очки на кончик носа.

– Чересчур фривольно. Под музейную крысу ты не проканаешь. Тем более под работника прокуратуры.

– Я не собираюсь канать под работника прокуратуры. Я хочу выяснить у него, что скрывается под термином «работы без указания авторства», только и всего. Вполне невинно.

– Да уж, невинно... Ну, хорошо, а вдруг окажется, что наши Всадники все-таки принадлежали Гольтману?

– Тогда я просто куплю у него эту картину. Попрошу ему в жилетку, скажу, что эту картину принесли к нам в галерею на оценку...

– Интересно, на какие шиши ты собираешься ее покупать? Это был один из немногих вопросов, на который я знала ответ.

– Продам свою квартиру. Двухкомнатная на Васильевском, к тому же старый фонд – тысяч двадцать пять – два-

дцать семь она потянет.

– Ты рехнулась, Кэт!

– Что такое двадцать семь тысяч по сравнению с миллионами, которые нас ожидают? Потом можно будет прикупить недвижимость на Майорке. Или на Кипре, там любят русских...

– Русских любят только в приграничных районах Китая, и то только потому, что они закупают там пуховики. И где ты собираешься жить, если продашь квартиру?

– У тебя в мастерской. Или у Жеки. Вы же не выгоните меня на улицу. Тем более что все это я делаю для вас.

– Для нас? Для своей галереи ты это делаешь. И для собственного самоутверждения.

– Ну, хорошо. Допустим. Не забывай, Снегирь, ты ведь тоже совладелец... Значит, выгляжу я фривольно?

– Более чем. Рыжие волосы – это порнография. Я всегда это утверждал.

– Рыжие волосы – это гипноз и свобода маневра. – Я никогда не давала себя в обиду. – Ладно, я пошла. Пожелай мне удачи.

– погоди. – Лавруха наморщил лоб. – А если он знает об истинной стоимости картины?

– Не думаю. Помнишь, я говорила тебе о разговоре с Маричем? Так вот, он сказал мне, что преступление раскрыто по горячим следам и большинство похищенного возвращено владельцу. Остались мелочи. «Остались мелочи» – это его

слова. Если бы истинная стоимость картины была известна – ее никто бы не отнес к разряду мелочей.

– Тебе нужно работать аналитиком при президенте. – Лавруха одобритительно хлопнул меня по плечу.

– Лучше в МОССАДе.

– Когда за вами подъехать, мадемуазель?

– Ну, не знаю. Думаю, двух-трех часов мне хватит, чтобы разобраться с этим детищем Сиона.

– Тогда я по парку прошвырнусь. Кое-какие наброски поделаю.

– Истинный художник! Ни дня без эскиза.

Лавруха высадил меня возле кафешки, где я тотчас же заказала себе стакан сока и джин с тоником. И, просидев час и протроив все возможные линии поведения, решительно направилась к железной двери в заборе, за которой меня ждал ничего не подозревающий Иосиф Семенович Гольтман. Перед тем, как нажать кнопку звонка, я поправила свои порнографические волосы и одернула Жекин асексуальный костюм.

Все, можно приступать к операции.

Голос из небольшого динамика раздался не сразу, а только после четырех настойчивых звонков. Я совсем было собралась уходить, когда он наконец прорезался:

– Слушаю вас.

– Добрый день, Иосиф Семенович. Я по поводу недавнего ограбления.

Это прозвучало вполне нейтрально: сдавать козыри раньше времени мне не хотелось.

Замок в двери щелкнул, и я оказалась в частных владениях Гольтмана. И в очередной раз восхитилась Быкадоровым: проникнуть в эту крепость было непросто. Высокий, в полтора человеческих роста, забор отделял дом от улицы, да и сам двухэтажный особняк с забранными решеткой окнами больше смахивал на средневековый замок. Не хватало только рва, подвесного моста и отрубленных разбойных голов на кольях перед воротами.

Иосиф Семенович оказался худосочным молодым человеком в затрапезной футболке, болгарских джинсах 1977 года выпуска и шлепанцах на босу ногу. Хорек, да и только, ручная крыса – с ним можно справиться в два счета.

– Слушаю вас, – повторил Иосиф Семенович, близоруко сощурившись.

– Меня зовут Соловьева, Катерина Мстиславовна, – строго сказала я. – И я занимаюсь экспертизой картин.

Вряд ли он потребует документы, слишком уж интеллигентен.

– Проходите, – младший Гольтман посторонился, пропуская меня в дом.

...Его первый этаж оказался забит антиквариатом. Мебель красного дерева, напольные китайские вазы, гора фарфоровых безделушек на камине. И самый настоящий клавесин в углу у окна. Клавесин произвел на меня особенно

сильное впечатление. Гольтман провел меня к оттоманке, на ходу задев стул.

– С утра не могу найти очки. Без них я почти ничего не вижу, – извинился он. – Слеп, как летучая мышь. Это у нас семейное.

– Может быть, вам стоит сделать операцию?

– Мне противопоказаны операции, у меня слабое сердце. Это тоже семейное. Дядя умер от инфаркта.

– Соболезную...

Плевать он хотел на мои соболезнования.

– Когда мне вернут ценности? – спросил у меня Иосиф Семенович.

– ???

– Вы ведь обещали не задерживать их.

Иосиф Семенович, сразу видно, что вы презираете программу «Человек и закон»!..

– Видите ли, следствие пока еще не закончено. – В отличие от Гольтмана я обожала телевизионные криминульки. – И ваш Рубенс, и все прочее являются вещественными доказательствами. Вы ведь получили расписку?

Моя произнесенная с апломбом тирада в стиле адвокатского сериала «Закон и порядок» возымела действие.

– И что мне прикажете делать с этой распиской? – Гольтман обиженно выгнул губы. – Через неделю я уезжаю из страны, на некоторые картины уже существуют реальные покупатели. Вы меня без ножа режете.

Ты уезжаешь из страны – отлично, даже лучше, чем я могла предположить!

– Это не моя компетенция. Я ведь только сотрудничаю со следствием и приглашена в него как эксперт.

– Что-то я вас ни разу не видел, – запоздало насторожился Гольтман.

– Я независимый эксперт.

Даже сейчас он не потребовал у меня документов, хотя хлипкая ксива у меня все-таки имелась. Вчера Снегирь состряпал мне бумажонку от Союза художников: одна из его натурщиц работала в Союзе секретаршей.

– Дело в том, – вкрадчивым голосом сказала я, – что нужно уточнить выходные данные некоторых пропавших вещей.

– Их нашли? – неожиданно дернулся Иосиф Семенович.

– Пока еще нет, но... Мне бы хотелось изучить их поподробнее. Мы отслеживаем несколько сомнительных картинных галерей. Не исключено, что вещи из вашей коллекции могут всплыть на черном рынке.

– Хорошо. – Гольтман оказался кроткой овцой. – Может быть, чаю?

– С удовольствием.

Гольтман скрылся в недрах особняка, я присела на оттоманку, за инкрустированный перламутром столик против клавиесина. На столике стоял крохотный китайский болван, такой хорошенький, что мне сразу же захотелось сунуть его за пазуху. Иосиф Семенович появился спустя несколько ми-

нут с папкой и вазочкой печенья.

– Чайник сейчас закипит. Есть отличный зеленый чай.

Изумительно действует на печень.

– Буду признательна. – Зеленый чай я ненавидела лютой ненавистью.

Иосиф Семенович посмотрел на меня с любовью.

– Сейчас мало кто знает толк в зеленом чае. Он создан для гурманов.

– Не могу с вами не согласиться. – Руки мои так и тянулись к папке. – Если вы не возражаете, я просмотрю бумаги.

Две миниатюры, витражный проект ван Альста и картины без указания авторства. Но их оказалось не две, а три. Должно быть, Марич ошибся, когда перечислял украденные ценности. Мне было наплевать на миниатюры и даже на картонку ван Альста. Совсем другое интересовало меня. И я сразу же нашла то, что меня интересовало. «Рыжая в мантии», вот под каким именем проходила Дева Мария!.. Я вдруг испытала чувство жгучей ненависти к очкастому счастливику. Но чем дольше я изучала бумаги, тем в большее недоумение приходила. И миниатюры, и злосчастный ван Альст, «Снятие с креста» и даже «Отдых на пути в Египет» неизвестных авторов семнадцатого века школы Рубенса были описаны с чисто еврейской основательностью. В записях было указано все, вплоть до малейших деталей, кракелюров¹² и механических повреждений поверхности. К реестру каждой вещи бы-

¹² Кракелюр – растрескивание грунта, красочного слоя или лака картины.

ли приложены фотографии. Вот только «Рыжая в мантии»...

Ни единого слова, кроме порядкового номера в общем перечне. Одна-единственная строка, против которой стоял вопрос.

Пока я размышляла над этим удивительным обстоятельством, явился Гольтман с чайником и маленькими фарфоровыми чашками.

– Ну как? – спросил он, разливая зеленую бурду в коллекционный китайский фарфор.

– У вас уникальная коллекция, – совершенно искренне сказала я.

– Дядя собирал. Он был одержимым человеком.

– А вы?

– Знаете, я вряд ли смогу достойно продолжить его дело.

Барокко всегда казалось мне слишком помпезным стилем. Готика – вот что меня привлекает.

А он милашка, этот Иосиф Семенович! И дремучий аскет – только аскетам могут нравиться вытянутые ступни готики.

– Куда вы уезжаете?

– Я уже говорил следователю... В Эссен, на постоянное место жительства. Мне предлагают хорошую работу.

Милашка и дурак. Имея такой Сезам на дому, такие копии царя Соломона, можно не работать до конца дней своих. Положительно, Иосиф Семенович был выбракованной овцой в прагматичном еврейском стаде.

– Пейте, прошу вас. Заварен по старинным тибетским рецептам.

Я отхлебнула из чашки и даже не поморщилась.

– Божественный вкус. Такой же божественный, как и ваша коллекция. Надеюсь, скоро она будет восстановлена полностью.

– Это было бы замечательно.

– С вашего позволения, Иосиф Семенович... Нас интересует одна картина. К сожалению, она не описана. Я имею в виду «Рыжую в мантии»...

Гольтман поперхнулся чаем и покраснел так, как будто я сказала что-то непристойное. Нет, я была не совсем точна в определении: в глазах Иосифа Семеновича промелькнул легкий ужас.

– Почему... почему вы спрашиваете о ней?

– Потому что она была украдена.

– Но ведь... я не указал ее...

– Что значит – не указали? – удивилась я.

– *В списке похищенного ее не было.*

Ты трижды дура, Кэт! Но кто мог предположить, что у Гольтмана странные отношения с доской? Такие странные, что он даже не хочет афишировать ее похищение. В любом случае картина принадлежит ему. Ему и его покойному дяде. Интересно, кто поставил вопрос против названия картины? И почему нет ее описания?

– Как вы узнали, что она украдена? – не отставал от меня

Иосиф Семенович.

– Компетентные органы ведут сейчас оперативную разработку одного черного антиквара. Есть сведения, что некоторые вещи из украденной коллекции могут быть у него.

– Не поймите меня превратно... Но я вообще не связывал эту картину с ограблением.

Час от часу не легче!

– Почему?

– Она хранилась совсем в другом месте. Не там, где все остальные похищенные ценности. Я не мог предположить... – Гольтман вдруг прикусил язык. – Ее нашли?

– Пока нет, но...

– Слава богу! – Невыразительное лицо Гольтмана пошло пятнами.

– Я не понимаю вас...

– Я надеюсь, что эта картина никогда не будет найдена. – Иосиф Семенович близко придвинулся ко мне, и я явственно почувствовала запах магnezии, исходящий от его волос. Магnezии и валерьянки. Рука с чашкой повисла как плеть, и несколько капель чая пролилось на мой костюм.

Гольтман не заметил этого.

– Мы постараемся вернуть ее вам. И в самом ближайшем времени. – Я осторожно отвела от себя руку с чашкой.

– Вы не знаете. Почему вы ею заинтересовались? Именно ею?

– Я уже говорила вам. Эта картина...

– ...Эта картина убила дядю, – выдохнул Иосиф Семенович.

Ничего себе поворотец! Чтобы собраться с мыслями и выбрать верный тон, я качнула голову болванчика. Влево-вправо, влево-вправо, узкие глазки, узкий ротик – все ли ты делаешь верно, Катька, Катенька, Кэт, Катерина Мстиславовна? И не будешь ли ты гореть в аду за свое вранье?..

– О чем вы говорите, Иосиф Семенович? Вы же трезвый человек...

– Хорошо. Я объясню... Я не стал рассказывать следователю, потому что меня сочли бы за сумасшедшего. Я думал, что избавился от нее навсегда.

– Надеюсь, мы сумеем вернуть ее.

– Нет. Никто не требует от вас такого рвения. – Гольтман попытался взять себя в руки. – Я бы предпочел никогда не то что не видеть, но и не слышать о ней.

– Даже если ее рыночная цена составит несколько сот тысяч долларов?

– Сколько бы ни стоила. Это проклятая картина. Она была у дяди всего лишь месяц. И она его убила.

– Насколько я знаю, он умер от инфаркта.

– Какая разница, от чего он умер... Мы не были особенно близки с ним. Дядя Аркаша был вообще замкнутым человеком. Его семьей были его картины, он был одержим ими. Но особая привязанность... Нет, он не был привязан ни к чему, он продавал и покупал, загорался и охладевал. Он никогда

не был женат – его картины были его гаремом. Иногда он от них избавлялся, как избавляются от надоевших наложниц. И тотчас же покупал новые. Он был чрезвычайно влюбчивым человеком.

– Очень странный вид влюбленности, вы не находите?

– Он вообще был своеобразным человеком. В прошлом году его пригласили на Рождество – в маленькую деревеньку под Кингисеппом, кажется, она называется Лялицы. Там живет его старый друг по Корабелке, какой-то отошедший от дел публицист. Мизантроп, каких мало, ненавидит людей, потому-то и уехал из Питера много лет назад. Оттуда дядя Аркаша и привез картину.

– Из деревни Лялицы?

Интересно, как Лукаса Устрицу могло занести в богом забытые Лялицы?..

– Да. Это забавная история. Дядя Аркаша рассказал, что эту картину, – лицо младшего Гольтмана исказила гримаса гадливости, – эту картину привез после Второй мировой войны отец его друга. Он был военным комендантом небольшого немецкого городка и вроде бы там, в каком-то замке, и разжился этой картиной. Замок принадлежал то ли Герингу, то ли Лею, то ли кому-то из военной немецкой аристократии. Тогда это было принято, трофеи... Пара ружей с инкрустацией, несколько кукол для дочери, посуда, швейная машинка, гобелен и эта картина.

– Занятно. – Я подумала о том, что спонтанная версия

Лаврухи о старушке из Опочки имеет все шансы на существование.

– Так вот, дяде Аркаше эту картину подарили.

– Хороший подарок.

– Ужасный подарок. Дядя с ней не расставался. Поставил у себя в кабинете...

– И он что, не пригласил экспертов? Не занялся историей картины? – Я слабо верила в то, что коллекционер такого класса даже не попытался узнать о ее происхождении.

– Кажется, он кого-то пригласил. Одного или двух. По-моему, даже какого-то иностранца... Я же говорю, мы были не особенно близки. Но когда эта картина появилась в его доме, он просто с ума сошел. Я несколько раз заставлял его в кабинете, он часами мог сидеть перед ней. Забросил все. Скажу честно, я боялся к ней подойти. Особенно после того, как остался с ним на несколько часов. У дяди была одна ценная книга, бестиарий¹³ тринадцатого века. А я составляю сейчас словарь сюжетов и символов, это моя специализация... Так вот, эту книгу дядя никогда не выносил из кабинета. Он позволил мне работать с ней. Одиннадцатого января, я точно помню дату...

– И что же произошло одиннадцатого января? – Мой собственный день рождения, как мило. Если все сложится удачно, я, Лавруха, Жека и двойняшки отметим его где-нибудь

¹³ Бестиарий – вид средневековой литературы. Описание зверей и их аллегорическое толкование.

за границами нашей многострадальной родины.

– Я остался у него ночевать. Работал в кабинете, за столом. А он сидел в кресле, против картины, она была выставлена на специальном пюпитре... Расстояние между ним и картиной было не слишком велико, и, по-моему, день ото дня сокращалось. Дядя сам говорил мне, что придвигается к ней все ближе, что ему хочется влезть в картину и овладеть этой женщиной.

– Неужели? – Я скептически посмотрела на Гольтмана и заложила ногу за ногу.

– Ну, не совсем так, – смутился он. – Я несколько преувеличил. Но общий пафос был именно таким, поверьте.

Поверить в то, что красotka из пятнадцатого века заставила старого козла предаваться греховным мыслям, было трудно. Хотя сюжеты и символы, над которыми корячится младший Гольтман, вполне это допускают.

– И что же произошло одиннадцатого января?

– Так вот, я работал с бестиарием, сидел за письменным столом дяди. Он находится в правом углу, недалеко от двери и против окна. Картина тоже стояла против окна. Дядя сидел в кресле метрах в двух от картины. По легенде это кресло принадлежало Павлу Первому...

– Не отвлекайтесь, Иосиф Семенович.

– Да-да... так вот, когда часы пробили полночь, я вдруг почувствовал... Заметьте, не увидел, а почувствовал... Что в кабинете что-то неуловимо изменилось. И эти изменения

шли от картины.

– И какого рода были изменения? – Теперь уже я наклонилась к Гольтману и почему-то понизила голос.

– Мне трудно объяснить... Мне вдруг показалось, что она ожила.

– Кто?

– Нет, не сама картина... Девушка на картине, вот кто! – перешел на трагический шепот Гольтман. – Я даже услышал ее легкий смех. Он как будто звучал в моей голове. И смех этот был... как бы помягче выразиться... Не очень пристойным.

– Как у шлюхи?

– Ну что вы! – дернулся Гольтман. – Я совсем не это хотел сказать. Это было бы слишком простым объяснением. Она знала обо мне все – вот что это было. Мне неудобно говорить, но...

– Но вы почувствовали желание. – Положительно, кроме МОССАДа, по мне скучала еще и кафедра психоанализа в каком-нибудь престижном университете.

– Именно! – обрадовался Гольтман. – Но это было самое низменное желание, которое я испытывал в жизни.

Я бросила иронический взгляд на субтильную фигурку Гольтмана, его узкие женские плечики и на глубокую впадину в районе паха.

– На какое-то мгновение я даже возненавидел дядю, ведь это он был хозяином картины. И эта ненависть тоже была

низменной. Я ощутил его соперником, вы понимаете, о чем я говорю?...

– С трудом.

– Мне вдруг захотелось убить его. В глазах плавали клочья тумана. А потом мне перестало хватать воздуха. Я задыхался. Я даже попробовал позвать его на помощь, но так и не смог раскрыть рот. А ее смех все время звучал у меня в голове. Зловещий и прекрасный. Мне удалось сползти с кресла, и я на четвереньках добрался до двери, выскочил наружу. Если бы я остался там хотя бы на пять минут дольше... боюсь, я бы просто умер.

– Да. Удивительная история, – сказала я только для того, чтобы что-то сказать. – Надеюсь, вам полегчало.

– Не сразу. Я нашел нитроглицерин, выпил сразу несколько таблеток. Только после этого мне стало лучше.

– А дядя?

– Он не обратил на мой приступ никакого внимания. Его интересовала только картина. Девушка на картине. Я уехал утром. Самым страшным было то, что мне все время хотелось вернуться. Еще раз посмотреть на нее. Я с трудом справился с собой. Две недели спустя, когда ощущения несколько притупились, я снова вернулся в Павловск.

– Бестиарий, я понимаю. Вам необходимо было закончить работу.

– Я тоже говорил себе это. Мне нужно закончить работу. Но истинная причина была в другом – вы ведь понимаете.

Когда я вошел в дом... У меня есть ключи, как вы понимаете... Так вот, когда я вошел в дом, никто меня не встретил. Сначала я подумал, что дядя уехал в Питер, как раз в это время в Питере находился его старый знакомый, антиквар из Осло... Но все оказалось страшнее. Кабинет дяди был заперт – и заперт изнутри. Я обогнул дом – его кабинет на первом этаже, и окна забраны решетками... Шторы на окнах были задернуты, и форточка закрыта. Я сразу почувствовал неладное. Вызвал слесаря, вдвоем мы взломали дверь...

– И снова слышали смех? – не удержалась я.

– Не иронизируйте, Екатерина Мстиславовна... Мы взломали дверь и увидели дядю Аркашу сидящим против картины. В том же кресле, только он теперь придвинулся к ней еще ближе.

– И что?

– Он был мертв. Лицо исказила чудовищная гримаса, оно посинело. Боже мой, я никогда не забуду выражения его лица. Смесь ужаса и наслаждения... Правая рука дяди вцепилась в подлокотник кресла. А левая... Скрюченными пальцами он указывал на картину.

– Что показало вскрытие? – строгим прозекторским голосом спросила я.

– Он умер от инфаркта. Таково было официальное заключение. Но я... Я знал, что это картина убила его.

Быкадоров умер от инфаркта, Аркадий Аркадьевич

Гольтман умер от инфаркта – ничего не скажешь, Дева Мария подвизается на неблагодарном поприще серийного убийцы.

– Вы считаете меня сумасшедшим? – облизав пересохшие губы, спросил у меня Иосиф Семенович.

– Почему же... А что было дальше?

– Я спрятал эту картину. Поклялся себе никогда ее не видеть, никогда не смотреть на нее. Я спрятал ее на чердаке, среди старого хлама. Быть может, я совершил кощунство по отношению к произведению искусства. Но это не было произведением искусства...

О, как ты ошибаешься, Иосиф Семенович! Это произведение искусства, да еще какое!

– Это не было произведением искусства, – упрямо повторил Гольтман. – Произведение искусства не может убивать, оно создается совсем для другого.

И здесь ты ошибаешься. За право обладать ценностями люди истребляли друг друга веками, разве в твоём bestiarii нет комментариев по этому поводу?

– А потом была эта жуткая кража... Знаете, выскажу крамольную мысль. Я даже обрадовался, когда исчезла и эта картина. Я посчитал это провидением. Ее не найдут? – Он молитвенно сложил руки на груди.

– Не знаю. – Вот он, мой звездный час! – А вы бы не хотели видеть ее в своей коллекции снова?

– Нет! Рано или поздно я вернусь бы к ней. И умер бы

такой же страшной смертью, как и дядя... Вы ведь эксперт? Вы имеете дело с картинами...

– Похищенными картинами, – осторожно добавила я. – И если мы найдем ее, то обязательно вам вернем. Таков закон.

Тело Гольтмана, и без того тщедушное, опало, как будто все органы – от сердца до селезенки – сбились в кучу и теперь дрожали от страха.

– Таков закон... – повторил он. – Но ведь я могу отказаться от нее...

– И даже ее цена вас не остановит?

– Мне плевать, сколько она стоит. Я и так обеспечен сверх меры, наследство дяди было сказочным подарком... Через неделю меня не будет в стране, я уезжаю в город, который нравился мне всегда и где я смогу наконец спокойно заняться исследовательской работой. Готика, вы понимаете, готика – вот все, что меня интересует. А Эссен – это готика. Я хочу дожить до старости и успеть сделать все, что наметил. Я ничего не хочу больше слышать об этой картине...

– Но вы можете ее подарить, если когда-нибудь она найдется, – ввернула я. – Передоверить право наследования.

– Я не могу... От этой картины исходит опасность... Я не хотел бы, чтобы еще кто-то...

– Этот вопрос можно решить. – О такой удаче я и мечтать не могла. Затравленный интеллеktуал, начитавшийся средневековых религиозных теософов, архивная крыса, владелец карманных аллегорических животных готов избавиться от

Лукаса Устрицы любой ценой. – Если картина будет найдена...

Мягкие волосы на макушке Гольтмана задрожали.

– ...если картина будет найдена, я могу заняться ею. При условии, что вы доверяете мне все правовые действия, с ней связанные.

– Вы отчаянный человек. – Гольтман снова близоруко прищурился. – Через неделю меня не будет в стране, меня ждет Эссен. И я жду его – как манны небесной...

– Отлично. – Я тотчас же прервала его приторно-сладкий поток слов. – Вы согласны, Иосиф Семенович?

– Право, не знаю...

– Вы избавляетесь от головной боли, а все последствия я беру на себя, – уламывала я мнительного ученого.

– Вы думаете?

– Что тут думать? Сейчас составим бумагу, потом заверим ее у нотариуса. Вы уезжаете в Эссен свободным и богатым человеком.

– Ну, хорошо, – сказал наконец он.

Я с трудом удержалась, чтобы не вскочить и не задушить Гольтмана в объятьях: путь свободен, отныне только зеленый свет, через несколько вшивых месяцев мы будем обеспечены до конца дней своих!

– Что я должен делать?

– Я составлю соглашение, вы подпишете его. А потом отправимся к нотариусу. Вы располагаете парой свободных ча-

сов?

– Конечно. Я только найду очки и переоденусь.

– Вот и отлично. А я набросаю проект. У вас есть ручка и бумага?

Гольтман сунул мне стодолларовый «Монблан» и несколько листов хорошей писчей бумаги. Спустя десять минут документ был готов. По нему я являлась доверенным лицом И. С. Гольтмана (непозволительная наглость с моей стороны) и брала на себя все обязательства по продаже картины «Рыжая в мантии» неизвестного автора. Поставив последнюю точку, я завернула колпачок ручки, качнула голову китайского болвана и принялась внимательно изучать внутренности комнаты.

Я успела дойти только до каминной полки, когда появился облаченный в тройку Иосиф Семенович. Выглядел он торжественно: именно такие тройки практикуются на свадьбах и похоронах.

– Все готово, Иосиф Семенович. Я внесла свои паспортные данные. Вы ведь даже не посмотрели – ни их, ни лицензию, ни документы от Союза художников. Вы слишком доверчивы.

– Каюсь, не люблю бумажек. Люди должны доверять друг другу. Вы ведь пришли не для того, чтобы облапошить меня, правда?

– Правда. – Я даже не покраснела.

– Вот и отлично. – Он присел рядом со мной и вынул из

кармана очки с толстыми линзами: бедняга, он действительно был почти слеп. – Слава богу, наконец-то их нашел... Они лежали в ванной, представьте себе. Извините, что заставил вас ждать.

– Ну что вы! – Я готова была сидеть здесь сутками, лишь бы заполучить Деву Марию относительно законным способом.

– Где мне нужно расписаться?

– Вот здесь. Вы взяли паспорт и завещание?..

Гольтман водрузил очки на нос, пробежал глазами текст, поставил трогательную закорючку и мельком взглянул на меня. И больше уже не отрывался от моего лица.

Сначала я даже не поняла, что произошло. Глаза Гольтмана за толстыми стеклами очков наполнились ужасом и едва не вылезли из орбит, плохо выбритые щеки посинели, и мне показалось, что он сейчас умрет.

– Что с вами, Иосиф Семенович? – Я невольно потянулась к нему.

Гольтман отшатнулся от меня, как от омерзительной гадины.

– Я знал... Я знал, что ты придешь убить снова, что ты не оставишь нас в покое...

– Что с вами? – Я снова попыталась придвинуться к нему, но он сполз с оттоманки, бухнулся на колени и поднял руки, худые и бледные.

– Я знал, что ты вернешься, рыжая бестия... Я чувствовал

это...

Рыжая бестия... Неожиданная догадка поразила меня, и я с трудом удержалась, чтобы не рассмеяться: портретное сходство с Девой Марией, вот о чем я забыла. «Рыжая в мантии» была точной моей копией, а он не мог разглядеть моего лица, пока не надел очки. А когда разглядел – страшно испугался. Испугался по-настоящему. Сумасшедший книжный червь, жучок-короед, готовый источить готику Эссена вдоль и поперек. Все происходящее выглядело смешно и пугающе одновременно. Он действительно меня боится, боится до смерти, он верит в черную магию картины. Что ж, тем лучше, не мытьем, так катаньем. Я всегда была изворотлива, еще в академии я добывала зачеты самыми невероятными способами. Недаром Жека зовет меня авантюристкой.

Так что сейчас или никогда. Всадники Апокалипсиса будут мной довольны.

Я загнала остатки совести в предназначенную для них клетку (не очень-то они и сопротивлялись) и решила сыграть роль рыжей бестии до конца. Мне потребовалось всего несколько минут, чтобы сосредоточиться. И все эти несколько минут Гольтман беспомощно отползал от меня.

– Не стоит меня бояться, – нейтральным голосом сказала я и засмеялась.

Непристойным в моем понимании смехом. Должно быть, он не слишком отличался от смеха девушки на картине, и Гольтман затих.

– Чего ты хочешь? – пролепетал он. – Чего ты хочешь от меня?

– Забудьте о картине. Забудьте и никогда о ней не вспоминайте. Езжайте в свой Эссен, и никто вас не потревожит. Никто и никогда.

– Боже мой!..

– Не стоит призывать бога. Вы должны пообещать мне, что никогда не вспомните о картине, иначе... Не стоит повторять участь дяди.

Гольтман сжался на полу. На секунду мне стало жалко его, но в конце концов он сам виноват в этом балагане, он сам предложил мне правила игры.

– Вы обещаете?

– Да, да, да...

Я склонилась над ним – запах магнезии и валерьянки усилился. До чего же просто его запугать!.. Гораздо сложнее поставить последнюю точку. Нужно сначала найти ее.

И я нашла.

Я поцеловала Гольтмана в пергаментный, покрытый испариной лоб – поцеловала со всей страстью и всем бесстыдством, на которые была способна. Иосиф Семенович почти не дышал, на какую-то страшную секунду мне показалось, что он отдал богу душу.

Нет, он все-таки жив, хотя и находится в полубморочном состоянии. А мне нужно убираться отсюда, иначе он придет в себя.

Собрав со стола бумаги, я прошла к двери и закрыла ее за собой.

* * *

Чтобы прийти в себя, мне пришлось выпить коньяку: все в том же бистро. Это помогло, но лишь на несколько минут. От последней сцены остался осадок, который ни в каком коньяке не утопить. Я закрыла глаза и принялась ждать, когда мой рассудок справится со всем и, самое главное, примирился. Ждать пришлось недолго. Сначала я находила ситуацию чудовищной, потом, омытая еще одной порцией коньяка, она стала казаться мне забавной. Я просто приняла подачу, вытащила почти безнадежный мяч – медаль мне за это!

В конце концов, ничего страшного не произошло: младший Гольтман увидел во мне только то, что хотел увидеть, а я не стала его разубеждать. Если он хочет видеть во мне материализовавшегося демона – на здоровье. Нельзя мешать людям верить во что-то. Главное достигнуто: картина принадлежит нам.

Я ни секунды не сомневалась, что Гольтман никому не расскажет о случившемся, что он уедет в свой Эссен и постарается забыть обо всем. И никогда к этому не возвращаться. Я не верила в мистическую способность картины убивать. Я сама столько времени находилась рядом с ней – и ничего не произошло.

Или картина действует только на мужчин?

Но и Лавруха жив-здоров, и Ванька Бергман, который вообще не вылезает из азиатского гриппа... Так что выкинь все дурные мысли из головы, Кэт. Тебе предстоит большая работа...

– Не помешаю? – услышала я над своей головой вкрадчивый голос.

За последнее время он так меня измучил и так въелся во все поры кожи, что я узнала бы его и со спины.

– Как вы можете помешать? Присаживайтесь, капитан.

И проклятый капитан опустился на стул рядом со мной. Мне сразу же захотелось надраться, как только я увидела его дурацкий ежик и дурацкий твидовый пиджак.

– Вам взять что-нибудь? – спросил он.

– Кофе. Вы же хотели выпить со мной кофе...

Пока Марич ходил за кофе, я успела собраться с мыслями. Отрицать, что я пасу здесь Гольтмана, бессмысленно, следовательно, нужно сказать правду. Я пыталась поговорить с ним о некоторых картинах, но он не стал меня слушать. Сейчас я ввяжусь в разговор, а там посмотрим.

Марич уселся за стол и принялся размешивать ложечкой сахар.

– Я же говорил вам, что мы еще увидимся, – приветливо начал он.

– Нисколько в этом не сомневалась.

– Вам тоже нравится Павловск?

– Я без ума от Павловска. Люблю приезжать сюда. Здесь дивный парк.

– И дивные коллекционеры, – ввернул капитан. – Что вы здесь делаете, Екатерина Мстиславовна?

– Навещала одного дивного коллекционера.

– Удачно?

– Не совсем.

– Что такое? – Марич посмотрел на меня с деланным сочувствием.

– Вы меня заинтриговали. И мне захотелось самой взглянуть на коллекцию. Я ведь владелица галереи, узнала, что Гольтман уезжает из страны, кое-что распродает.

– А вы решили купить это кое-что? – Он не верил ни одному моему слову, это было видно.

– Вряд ли я располагаю такими суммами. Спортивный интерес, не более. У вас есть новости о похищенных вещах?

– Вы прекрасно знаете, что нет, – с нажимом произнес Марич. Он по-прежнему меня подозревал.

– Не знаю. Но надеюсь, что ваши героизм и самоотверженность рано или поздно принесут плоды. И вещи вернуться к хозяину.

Марич промолчал и сосредоточился на кофе.

– Как вы нашли наследника? – спросил он через минуту.

– Забавный тип, – я старалась не грешить против истины. – Типичный книжный червь... человек не от мира сего. К сожалению, он неважно себя чувствовал, так что визит

пришлось скомкать. А вы тоже собрались его навестить?

– Собирался, но раз вы утверждаете, что он неважно себя чувствует... Боюсь, что посещение придется отложить. Не хотите покататься на лодке, Екатерина Мстиславовна? В парке выдают лодки напрокат.

– И за этим вы притащились из Питера? Чтобы прокатить меня на лодке?

– Почему бы и нет? Мне бы хотелось узнать вас поближе. Конечно, тебе хочется узнать меня поближе, чтобы при первом же удобном случае защелкнуть наручники и зачитать права.

– Думаю, я вас разочарую. Я боюсь воды.

– Жаль. Зачем вы ездили к Гольтману? – Он так резко изменил тон, что я даже вздрогнула.

– Я же сказала...

– Вы думаете, я вам поверю?

– Зато какая непаханая целина версий! – Я решила вести себя по-хамски.

– Ну, хорошо. В конце концов узнать это не составит труда.

Капитан поднялся и направился к дому Гольтмана. Я совершенно спокойно осталась сидеть на месте: святая простота, да и только. Даже если Гольтман впустит его и начнет лепетать об ожившей картине, Марич просто-напросто ему не поверит. Но ведь Гольтман сам сказал мне, что боялся выглядеть сумасшедшим в глазах следствия... И потом – он не

указал картину в списке украденного.

Марич вернулся через пять минут.

– Ну как? – сочувственно спросила я.

– Пожалуй, вы оказались правы. Он не пустил меня вовнутрь. Сослался на нездоровье. – Марич хотел ухватить меня и не мог, и это выводило его из себя.

– Вот видите. Всегда нужно верить людям, даже рыжим.

Договорить я не успела: в конце улицы показался допотопный снегиревский «Москвич». Еще никогда я не радовалась ему так сильно. «Москвич» издал призывный гудок, и я поднялась.

– До свидания, капитан. Сегодня подвезти не сможем, увы.

... Только захлопнув дверцу «Москвича», я почувствовала себя в безопасности. Вечная крошка Алсу, нещадно эксплуатируемая Снегирем, показалась мне Монтсеррат Кабалье и Марией Каллас в одном лице: наконец-то я могу расслабиться!

– Опять этот хрен, – проворчал Снегирь, поворачивая ключ зажигания. – Что это он к тебе приклеился, как банный лист к заднице?

– У него работа, Лаврентий. У нас тоже. И большая.

На лице Снегиря отразилась борьба чувств.

– Сначала скажи: да или нет?

– Да! – заорала я на весь салон и бросилась Снегирю на шею. – Да! Картина наша, Лавруха!

Снегирь целомудренно отстранился.

– Я бы на твоём месте так не радовался. Картина его?

– Говорю тебе – картина наша!..

Через минуту я уже рассказывала ему о визите к Гольтману во всех подробностях. Лавруха лишь вздыхал и недоверчиво качал головой: все происшедшее показалось ему несусветной опереточной глупостью.

– Он шизофреник? – с надеждой спросил у меня Снегирь.

– Шизофрения, навязчивые мании, пляска святого Вита – какая разница, если он поклялся мне нигде не упоминать о картине. Тем более что через неделю его не будет в стране.

– Сегодня поклялся, а завтра...

Я не дала Снегирию договорить.

– Ты не понял, Снегирь? Он боится картины. Он даже не заявил ее в розыск... Он смертельно ее боится.

– Как можно бояться картины? – Здесь Снегирь лукавил: мы ведь тоже в какой-то момент испугались ее.

– Но ведь и нам было не по себе, когда ты снял последний слой...

– Это совсем другое, Кэт. Это не страх, это священный трепет перед великим. От великого всегда за версту прет опасностью, и только потому, что мы не можем понять, как это сделано. А обвинять картину в убийстве – пусть с этим разбираются психиатры.

– Но ведь его драгоценный дядя умер.

– От инфаркта.

– И Быкадоров умер от инфаркта... И оба они имели дело с картиной.

– Мы тоже имели дело с картиной, но, как видишь, живы, здоровы и довольно упитанны. – Снегирь сказал именно то, что я хотела услышать.

Я услышала и успокоилась окончательно.

– Значит, он принял тебя за оживший образ? – перевел разговор на другую тему Лавруха.

– Представь себе, – рассмеялась я.

– Клиника. А ты?

– Я не стала его разубеждать. Просто припугнула, вот и все. Надо же извлекать какую-то выгоду из нашего сходства.

– Думаешь, он будет молчать?

– Уверена. Мент уже пытался к нему прорваться, но он просто не открыл. Сказал, что болен. Он будет болен до самого отъезда, или я ничего не понимаю в людях. Так что можно смело готовить «Всадников» к продаже...

– Для начала нужно выяснить, не была ли она украдена раньше.

– Снегирь, ты зануда! Ванька же читал нам свеженькую статейку из «Вестника». Она, между прочим, датирована маем месяцем. Там говорится всего лишь о трех известных работах Остреа! О трех. А в мае Гольтман был уже мертв, а его племянник...

Я осеклась. В мае Гольтман был три месяца как мертв, а его племянник изъясил картину из коллекции и спрятал где-

то на чердаке, если верить его словам. Ограбление произошло в июле, когда обчистили несколько комнат особняка: именно там располагалась вся коллекция. Но как можно было украсть картину, находящуюся на чердаке, спрятанную под хламом, – то есть в месте, где ее не должно быть по определению? Только в одном случае – если кто-то *целенаправленно искал именно ее*. Почему я не спросила об этом Гольтмана? В любом случае теперь я этого не узнаю.

Но ведь Быкадоров нашел ее, и нашел на чердаке...

Это была неудобная мысль. Но я поступила с ней так же, как обычно поступала с неудобными мыслями. Я просто выкинула ее из головы.

* * *

Гольтман уехал.

Убрался в свой Эссен. Ровно через неделю после нашего с ним разговора. Лавруха, издали наблюдавший за ним в Пулкове, подтвердил это. Теперь руки у нас были развязаны. И мы смогли наконец-то заняться картиной. Только ею.

Для начала необходимо было придумать легенду ее возникновения в «Валхалле». Версия со старушкой из Опочки выглядела несколько приземленно, и тогда мы решили совместить две истории: о старушке (в новой редакции она оказалась покойной бабушкой Снегиря) и о Второй мировой войне. Месяц мы убили на изучение всех возможных источ-

ников, Лавруха даже затерся в комиссию по возвращению культурных ценностей, а я, с помощью Динки Козловой, подняла эрмитажные архивы, касающиеся голландцев.

Мы потратили уйму денег на факсы во все крупнейшие галереи мира: шведских денег от «Зимнего утра» хватило ненадолго, и Лаврухе пришлось продать свой «Москвич», а мне – недавно купленную стиральную машину «Аристон» и музыкальный центр.

– Я без колес как без рук, – ворчал Лавруха.

– Зачем тебе руки, ты ведь уже год ничего не пишешь, художничек! – урезонивала его я.

– А женщин обнимать, Кэт? Под юбки к ним забираться...

– Потерпи, продадим «Всадников» и купим тебе «шестисотый» «Мерседес».

– Не нужны мне бандитские машины. Мне бы что-нибудь скромное, трехдверный джипик, например.

– Будет тебе джип, а также белка и свисток...

С каждым днем белка и свисток становились все очевиднее: картина не была засвечена нигде, никто не разыскивал ее, никому из известных музеев, не очень известных музеев и частных коллекций она не принадлежала.

Она принадлежала только нам. Перед тем как хлопнуть дверью в небытие, фартовый вор Быкадоров сделал нам царский подарок...

Только один раз мы выбрались в Зеленогорск, к Жеке и двойняшкам. История с Лукасом ван Остреа, рассказанная

нами в лицах, неожиданно произвела на Жеку странное впечатление. Она расплакалась и сказала, что мы роём себе могилу. Что эта картина принесет нам массу неприятностей и что лучше, пока не поздно, передать ее государству.

Почему я не прислушалась тогда к Жекиным словам?..

Но я не прислушалась, и спустя две недели в одном из питерских арт-журналов появилась небольшая статья о «Всадниках Апокалипсиса». За поповым журналом потянулись солидные академические издания, и скоро говорить о «Всадниках» стало хорошим тоном на высоколобых тусовках.

У гипотетического владельца картины Лаврентия Снегиря даже взяли несколько интервью. Лавруха, как мог, закручивал интригу. Ни одной фотографии «Всадников» он не дал. Картины еще никто не видел, но она уже становилась знаменитой.

Было проведено три независимых экспертизы с привлечением специалистов из Эрмитажа, Пушкинского музея и нью-йоркского «Метрополитена». Авторство Лукаса ван Остреа никто так и не смог оспорить. Перед экспертизами произошел маленький казус: юркий агент какого-то крупного американского коллекционера, еще не видя картины, с ходу предложил за «Всадников» восемьсот тысяч долларов. Но Снегирь, выпивший накануне слишком много коньяку, заартачился.

– Я хочу, чтобы мои «Всадники» остались в России, – сказал Лавруха.

Последнее интервью с Лаврухой вышло именно под этой шапкой.

И в нем Лавруха наконец-то объявил, что арт-галерея «Валхалла», с которой он сотрудничает, выставляет «Всадников Апокалипсиса» на аукцион. Я узнала об этом, когда случайно купила «Искусство Санкт-Петербурга» в ларьке возле дома. С журналом наперевес я отправилась к Лаврухе в мастерскую. Он валялся на продавленной тахте и попивал французский коньяк.

– Восемьсот тысяч! – Я швырнула журнал Лаврухе в лицо и едва удержалась, чтобы не надавать ему тумаков. – Это же колоссальные деньги. Ты мог хотя бы вступить в переговоры.

– Не бойсь, старуха, – успокоил меня Снегирь. – Что такое восемьсот тысяч? Может, она стоит двадцать миллионов... Или пятьдесят.

– Никто не даст тебе пятьдесят миллионов за картину, никто, слышишь?.. Даже Ван Гог на последнем «Сотбисе»...

– Вот аукцион и покажет. У Ван Гога куча работ, а у нашего голландского мистического мальчика только четыре сохранившихся. Поставим первоначальную цену в девятьсот тысяч, чтобы не обидно было...

– Ты задираешь планку, Снегирь. Сразу видно, что ты никогда не занимался рынком.

– Ты, можно подумать, большой специалист.

– Даже не очень большой специалист знает правила. Картины – это такой же товар, как и все остальное. Реклама и

торговая марка – вот что важно. Ван Гог – это уважаемая торговая марка. То же самое можно сказать о Рубенсе, да Винчи и Микеланджело. Никто до сих пор не может с точностью сказать, сколько работ у них было... Периодически всплывают все новые.

– А Босх? – прищурился Лавруха.

– Босх – это модно. Это хороший тон. Это устоявшееся раскрученное имя. Попса, если можно так выразиться.

– Ну, ты загнула, Кэт... Босх – и вдруг попса.

– В хорошем смысле. Он общеупотребим. Это целый пласт культуры. А что такое Лукас ван Остреа? Нидерландская страшилка, полумистическая сказочка, известная лишь узкому кругу специалистов...

– Но ты же сама говорила, что мы огребем бешеные тысячи, – сразу же сник Лавруха.

– Я и сейчас этого не отрицаю. Устрица может быть безумно интересен исследователям и музеям. Но они таких крупных свободных денег не имеют. А у коллекционеров свои приоритеты. Им нужны только имена, проверенные временем и беспроегрешные. Это как старое вино, Снегирь...

– Значит, старое вино, – Снегирь прищурился. – Ладно, хотел скрыть, но придется... Тут ко мне одно чмо голландское яички подкатывало, дало сто долларов, только чтобы посмотреть на Лукаса Устрицу, а ты говоришь «планку задиралась»...

– А ты? – Я подивилась цинизму Снегирия.

– Позволил одним глазком взглянуть.

– Черт! Мы же договорились никому не показывать «Всадников» до аукциона.

– Двести долларов нам всегда пригодятся.

– Ты же сказал – сто.

– Я повысил цену. «Всадники» того стоят, к тому же с тобой в придачу. Оно и сейчас любит.

– Кто?

– Да чмо голландское.

– Ты оставил его с картиной один на один? – Я даже задохнулась от возмущения.

– Почему же «один на один»? Там Ванька, он присмотрит.

– Едем!

– Куда?

– К картине! А вдруг он задумал украсть ее?

– Не похоже, – сказал Снегирь, но все-таки поднялся и подтянул штаны. – И потом, это не какой-нибудь разбойник с большой дороги, а вполне уважаемый человек. Ламберт-Херри Якобс из Голландии, директор Музея Лукаса ван Остреа. Специально приехал в Россию, я просто не мог его отфутболить.

Ну конечно, именно его статью я читала в «Вестнике». Ламберт-Херри Якобс, самый крупный специалист по творчеству Лукаса Устрицы, цепной пес его единственной картины в Нидерландах. Я вспомнила круглые очки и постную вегетарианскую физиономию Ламберта-Херри, и в мо-

ем несколько люмпенизированном сознании он соединился с Иосифом Семеновичем Гольтманом. Почему же все исследователи так похожи друг на друга?

... Через полчаса мы уже были в реставрационной мастерской Бергмана. Ванька встретил нас у порога и приложил палец к губам.

– Ты чего? – удивился Снегирь.

– Пойдем на кухню... Не будем мешать ему созерцать. – Ванька увлек нас в отстойник без единого окна, который только при наличии большой доли воображения можно было бы назвать кухней. В углу, на грубо сколоченных козлах стояла электрическая плитка, а пол был усеян пакетами изпод китайской лапши.

– Третий час сидит, – сообщил нам Ванька. – Смотрит не отрываясь. Я уже беспокоиться начал, как бы не умер.

– Пойдем проверим, – предложила я.

– Не нужно... – начал было Ванька, но остановить меня было уже невозможно. Я слишком хорошо знала, как действует картина на некоторых особо впечатлительных людей.

Ламберт-Херри сидел на стуле против «Всадников», сложив руки на коленях.

И совсем не был похож на свою фотографию в «Вестнике». Нет, черты лица были теми, но живого Ламберта-Херри сжирал какой-то внутренний огонь. Да и сам он казался лишь необязательным придатком к глазам. Глаза – вот что было главное в Херри-Ламберте. Никогда еще я не видела

таких фанатично горящих глаз.

Чтобы хоть как-то привлечь его внимание, я уронила книгу В. В. Филатова «Реставрация настенной масляной живописи», которая лежала тут же, на журнальном столике.

Никакой реакции. Ламберт-Херри даже не шелохнулся.

Тогда, осмелев, я подошла к нему и несколько раз щелкнула пальцами у него над ухом. Тот же эффект. Глаза, сообразила я, фанатично горящие глаза, вот на что надо воздействовать. И провела ладонью у него перед лицом. Это возымело действие. Ламберт-Херри Якобс вздрогнул и воззрился на меня.

– Good day, – поздоровалась я.

– Divine painting¹⁴, – едва шевеля губами, произнес он.

Это был совершенно неподъемный для меня английский, так что для дальнейших разговоров нужно привлекать Бергмана, который вполне сносно болтает и в состоянии отличить бук от пляжа¹⁵. Пока Ванька вел светскую беседу с Ламбертом-Херри, я не отрываясь смотрела на него. Стерильное, лишенное всяких пороков лицо, как будто взятое напрокат из обожаемого им пятнадцатого века. Волосы, слишком темные для голландца, и кожа – слишком светлая. И глаза...

Тебя можно полюбить за одни глаза, взрослый мальчик, Херри-бой, жаль только, что они не видят ничего, кроме Лукаса Устрицы. Так, пожалуй, я и буду звать тебя – Херри-бой.

¹⁴ Божественная картина! (англ.)

¹⁵ Игра слов: beach (пляж) и beech (бук).

Что-то в разговоре с ним, должно быть, взволновало Ваньку, во всяком случае, он отвел нас в сторону и жарко зашептал:

– Парень не совсем уверен, но говорит, что это скорее всего левая створка триптиха. А центральная доска находится у него, в музее, в Мертвом городе Остреа...

– Мертвый город, мертвый город... Мне все говорят о мертвом городе! Что это такое? – спросила я.

– Его не существует с 1499 года, когда произошло крупнейшее наводнение. Мертвый город – место, где Лукаса Устрицу последний раз видели живым. Он проработал там около года и, судя по всему, погиб вместе с остальными жителями во время наводнения. Во всяком случае, после 1499-го сведений об Устрице не существует. А картина, которая хранится в Мертвом городе, – одна из последних его вещей. Если не последняя.

– Мило, – только и смогла выговорить я. – Что еще он тебе рассказал?

– В основном причитал. Он понимает, что «Всадники» стоят баснословных денег, но истина в искусстве всегда стоит дороже. Если бы их нынешний владелец, – Ванька кивнул на Снегиря, – сделал жест доброй воли... Если бы...

– Он что, хочет, чтобы мы подарили ему картину? И снабдили ее дарственной надписью? – Снегирь иронически хмыкнул и метнул уничижительный взгляд на голландца.

– Не совсем так... Он готов выложить определенную сум-

му. Конечно, она будет значительно ниже рыночной... Своих денег он не имеет, но существует фонд Остреа.

– Сколько? – тоном нижегородского купчика спросил Снегирь. – Сколько реально он может предложить сейчас?

Ванька подошел к голландцу и о чем-то деликатно прошептал ему на ухо. Лицо Херри-боя исказила мука: очевидно, сумма, которой он располагал, была смехотворной.

– Триста тысяч долларов. Фонд может собрать их в течение полугода. Есть еще надежда на добровольные пожертвования.

– Дохлый номер. – Снегирь демонстративно потянулся. – Скажи ему, что это несерьезно. И несолидно по меньшей мере.

– Сам и скажи, – неожиданно окрысился Ванька. Судя по всему, он был на стороне Херри-боя.

– Миллион и сразу. Плюс некоторая сумма за национальный престиж. – Потерявший чувство реальности Снегирь был непримирим. – Картинка того стоит.

Голландец, втянув голову в плечи, ожидал нашего приговора. Он был таким трогательным, что я решила подсластить пилюлю:

– Ты можешь намекнуть, что мы ждем его на аукционе. Что, возможно, ему повезет. – Бедняжка Херри-бой, у тебя нет никаких шансов.

Херри-бой и сам понимал это. Когда Ванька перевел ему пожелание владельца, он судорожно сомкнул и разомкнул

губы. И снова уставился на картину. Только она интересовала его. Не отрывая взгляда от «Всадников», он попросил сфотографировать картину.

– Это можно. Скажи, что мы нарушаем правила, но ради высокого голландского гостя и крупного специалиста...

Крупный специалист метнулся в предбанник Ванькиной мастерской и приволок огромную сумку с аппаратурой. Полчаса ушло на то, чтобы установить крошечные софиты, сама же съемка заняла больше часа. Херри-бой никак не мог расстаться с картиной, это было видно невооруженным глазом. Сфотографировав ее во всех ракурсах, он приступил к съемкам деталей, он как будто раздевал ее и снова одевал. Похоже, что именно она становилась лицом молельного дома Лукаса ван Остреа.

– Не нравится мне этот голландец, – сказал Снегирь, от скуки выдувший уже три кружки чая и подкрепившийся китайской лапшой. – Бродит вокруг картины, как хохол вокруг сала. Как бы не спер...

Я тотчас же усовестила Лавруху: я понимала интерес к «Всадникам» несчастного Херри-боя. Он был помешан на Лукасе ван Остреа, ничем другим его патологическую тягу к доске объяснить было невозможно. Странно, что он до сих пор жив.

Мобилизовав свой английский, я решила спросить о странностях, которые несут в себе картины Лукаса:

– Скажите, Херри, я могу называть вас Херри?.. Скажите,

Херри, правда ли, что картины Устрицы мстят людям, ими обладающим? Влюбляют их в себя и доводят до смерти?

– О, это всего лишь легенда, милая Катрин, всего лишь легенда... Но в его вещи люди действительно влюбляются, самым мистическим образом, – влюбляются в то, чего нет даже на полотне... Это правда. В этом смысле Лукас ван Остреа самый эротический художник в истории. В его картинах, тех немногих, что дошли до нас, живописуется зло. А зло всегда эротично.

Зло всегда эротично.

Не в бровь, а в глаз, Херри-бой. Фартовый вор, подонок и ублюдок Быкадоров был очень эротичен.

...Нам удалось выдать Херри-боя из мастерской только через три часа. Он цеплялся за поводы и предметы, уделил даже некоторое внимание реставраторской деятельности Бергмана – и только потому, что ему не хотелось расставаться с картиной. В том, что он останется в Питере до аукциона, я не сомневалась ни секунды.

* * *

Аукцион был назначен на одиннадцатое августа.

Эту дату я не забуду никогда. До сих пор картина не доставляла нам никаких неприятностей: смерть Аркадия Аркадьевича и последующая за ней смерть Быкадорова, а также временное помешательство младшего Гольтмана и булавоч-

ные уколы капитана Марича в расчет не шли. Мы провели со «Всадниками» больше месяца и за это время не заметили никаких отклонений – ни в здоровье, ни в психике.

За несколько дней до начала аукциона, когда «Всадники» были благополучно помещены в хранилище одного из банков, обстановка начала накаляться. Снегиря, как владельца картины, осаждала толпа желающих провести предварительные переговоры о покупке: засланные казачки обрывали телефоны и толпились у дверей галереи. Я выслушала в свой адрес такое количество комплиментов, какого, наверное, не достаивались покойные Мэрилин Монро, Жаклин Кеннеди и принцесса Диана, вместе взятые. Снегирь надоумил меня эти комплименты записывать и присуждать недельный приз самым изощренным из них. Но и я, и вошедший в роль хозяина Снегирь были непреклонны: встретимся на аукционе, господа хорошие. Несколько дней я провела с Херри-боем. Он оказался неважным собеседником: о чем бы ни говорили, беседа непременно сползала к Лукасу Устрице. Красоты Петербурга совсем не тронули его. Оживление вызвал лишь ничем не примечательный замызганный домишко с башней на углу Пятнадцатой линии и Малого проспекта. Он напомнил милый сердцу Херри-боя дом в Мертвом городе Остреа, только этажность не совпадала. В такой же башне, на втором этаже рыбной лавки, по преданию, снимал комнаты под мастерские Лукас ван Остреа. Взволнованный Херри-бой отирался вокруг него полчаса, пока я, не без удовольствия, со-

общила голландцу, что до революции под изящной башенкой располагался публичный дом.

Херри-бой страшно покраснел: было видно, что никаких дел с женщинами он не имеет – даже с публичными.

Кроме того, Херри-бой оказался довольно прижимист, самое большее, что я могла из него выдоить, – посещение «Макдоналдса» с обязательной лекцией к кока-коле. Лекция была прочитана в свойственной Херри-бою заунывно-патетической манере и сводилась к тому, что картины должны жить в странах, в которых были написаны. Только так можно сохранить экологию этих стран. Так и не дождавшись от Херри-боя обещанного чизбургера, я посоветовала ему обратиться с такой революционной идеей в местное отделение «Гринписа».

А за три дня до аукциона появился человек, который заставил меня напрочь забыть и о Херри-бое, и о «Всадниках», и обо всем остальном.

Человека звали Алексей Титов.

Он подъехал к галерее на роскошном представительском «Мерседесе» с двумя джипами охраны. Я даже струхнула, когда дюжие молодчики оккупировали галерею. Но вместо слов: «Это ограбление. Всем лечь на пол» их главарь, низкорослый сухонький азиат, произнес тривиальное: «Добрый день». После этого появился сам Алексей Титов, милый молодой человек с лицом проектировщика финансовых пирамид. И тем не менее это лицо показалось мне смутно знако-

МЫМ.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.